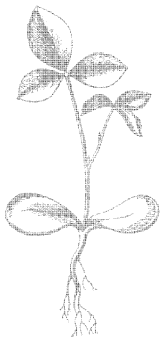


Л. ЛИБЕДИНСКАЯ
**ПОСЛЕДНИЙ
МЕСЯЦ ГОДА**





О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях, революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремлениях
И беззаветно к цели шел своей.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1 9 7 0

**П. ПЕСТЕЛЬ
К. РЫЛЕЕВ
С. МУРАВЬЕВ-
АПОСТОЛ
М. БЕСТУЖЕВ-
РЮМИН
П. ВАХОВСКИЙ**

Л. ЛИВЕДИНСКАЯ

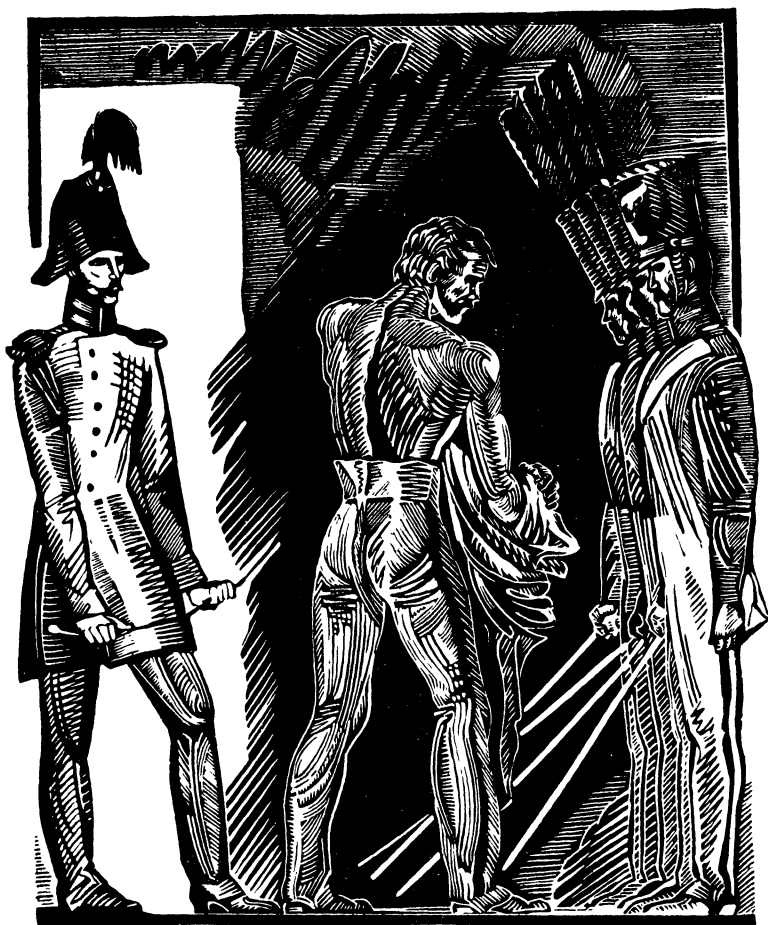
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА

■ П О В Е С Т Ъ О Д Е Н А Б Р И С Т А Х ■

■ П О В Е С Т Ъ О Д Е Н А Б Р И С Т А Х ■

■ П О В Е С Т Ъ О Д Е Н А Б Р И С Т А Х ■

■ П О В Е С Т Ъ О Д Е Н А Б Р И С Т А Х ■





**Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян!
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.**

К. Рылеев



ГЛАВА ПЕРВАЯ В НЕГО ЕЩЕ ПОВЕРЯТ...

Я кушкин с ним, видите ли, разговаривать не захотел!.. «Ну почему он со мной так?!» — с обидой, по-детски горькой, спрашивал себя Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, глядя из окна возка на мелькавшие мимо серые избы и чахлые придорожные садочки, покрытые густым слоем пыли.

«Пусть он старше и умнее меня, но я докажу, докажу! Императору Августу Октавиану исполнилось всего восемнадцать лет, когда он победил Марка Антония. А мне уже двадцать один!»

Он понимал: не подобает воину, заговорщику, влюбленному плакать как девчонке. Но не мог сдержать обиды, чувствовал, вот-вот всхлипнет. И чтобы ямщик, не дай бог, не заметил его отчаяния, громко и натужно кашлянул.

— Что, ваше благородье, пыли наглотались? — сочув-

ственно обернулся к нему ямщик. — Дождичка сейчас, полегчало бы. До Киева ехать еще и ехать. Калугу только миновали...

Ямщику нравился молоденький офицер. Поглядишь на него — не больше шестнадцати. Рыжий, веснушчатый, на барина не похож. Вроде из своих, деревенских. Его бы в ситцевую косоворотку обрядить да с ребятами в ночное отправить, нипочем от них не отличишь.

Михаил Павлович почувствовал добрую заботу в голосе ямщика, но ничего не ответил, только благодарно взглянул на потемневшую от пота и пыли широкую ямщицкую спину.

В том размягченном состоянии, в котором он находился, в разговоры было лучше не вступать. Он задернул пропыленную занавеску на маленьком окошке, чтобы жаркие лучи июльского солнца, поднимавшегося все выше, не проникали в полутьму возка.

«И все-таки он не имел права так со мной обойтись! — снова вернулся Михаил Павлович к мысли, не покидавшей его от самой Москвы. — Ведь я к нему от Сергея Ивановича Муравьева-Апостола как полноправный член общества... Якушкин храбрый воин, удостоенный наград в наполеоновских войнах, один из первых основателей тайного общества... Но сейчас-то главная сила — мы, южане! Неужели он не понимает, что настало время объединяться и готовиться к решительному удару против императора?»

«Единение, единение в мыслях и действиях — вот наша главная задача!» — продолжал он разговор, который должен был произойти между ним и Якушкиным. А Якушкин отказался вести с ним переговоры. Видите ли, он, Бестужев-Рюмин, слишком молод для такой ответственной миссии. Бестужев-Рюмин ничего не смог возразить, только растерянно улыбнулся.

«Глупая, идиотская улыбка!» — в отчаянии и бешенстве прошептал Михаил Павлович.

С детства так: маленький, младшенький. Последний ребенок в семье. Все относились к нему покровительственно.

«Только матушка понимала, — подумал Бестужев-Рюмин. — Всегда понимала!»

Он вспомнил, как по утрам входил к ней в комнату, жарко натопленную, уставленную множеством мягких предметов. В комнате над всем царствовала огромная кровать с пуховиками и перинами, покрытая розовым атласным одеялом. Екатерина Васильевна была женщина умная, образованная, но вялая и неподвижная. В постели пила кофе, завтракала, и хорошо, если к обеду поднималась. А бывало, и весь день проводила в постели.

Екатерина Васильевна подзывала сына к себе. Он подходил, худенький, бледный, в мягких сапожках и голубой шелковой рубашечке, и она гладила его по вихрастым рыжим волосам, которые ничто не брало — ни щетка, ни гребенка, — и они смешно топорщились на затылке. Он и красотой не вышел, и здоровьем слаб, да к тому же веснушчатый как кукушечье яйцо. Но мать чувствовала в нем внутреннюю силу, невидимую другим. Они часами разговаривали о смысле жизни и тайнстве смерти, о назначении человека. Небольшие зеленовато-коричневые ребячьи глаза серьезно и требовательно глядели на нее из-под коротких рыжих ресниц.

...Да, матушка понимала его. Но почему же, когда в нынешнем году он задумал жениться на Катрин, не дала благословения?

«Что сегодня со мной? — с неудовольствием спросил себя Михаил Павлович. — Почему об одном невеселом думается? Катрин любит меня, и мы будем счастливы. Будем! — сердито и упрямо повторил он. — Пусть



против и ее знатная родня — Раевские, Орловы, Давыдовы... Мы своего добьемся!»

Бестужев-Рюмин представил себе черноглазую тоненькую Катрин, вспомнил большой дом в Каменке, с колоннами и широкими ступенями, каменный грот в саду над рекой, влажную полутьму и прохладу. Он зажмурился, словно ожидая услышать хрустенье песка под легкими башмачками...

Громкое кукареканье вывело его из забытья. Он отдернул занавеску, опустил стекло. Жаркая струя воз-

духа ворвалась в окно. Возок выехал за околицу деревни. Вокруг стлались желтые поля созревающего хлеба. Налетал ветер, и колосья послушно гнулись, гибкие и плавные, как волны. На горизонте грудились тучи с темными, влажными днищами. Тучи были мягкие и взбитые, как пуховики на матушкиной постели.

«Матушка, — вернулся он мыслями к матери. — Как она была плоха в этот мой приезд... Теперь уже не от лени, а от слабости не поднимается», — подумал он, и сердце его дрогнуло. Он вспомнил прощанье с ней, как долго целовал мягкие прозрачные руки, поредевшие волосы, прядками выбившиеся из-под кружевного в оборках чепца. Глаза ее стали большими и черными. Почему он раньше не замечал, что у матери такие черные блестящие глаза?

— Скажи Сергею Ивановичу, пусть бережет тебя. Он умный. Вся муравьевская порода умом взяла! — и вдруг, словно испугавшись, как бы сын не подумал, что она навсегда прощается с ним, сказала строго и громко (откуда только сила в голосе взялась!):

— А за меня не бойся! Доживу до твоей славы. Мы, Грушецкие, живучи... — и, как в детстве, провела рукой по его вихрастым рыжим волосам.

Екатерина Васильевна перекрестила сына, надела на шею потемневший старинный образок, легонько оттолкнула от себя.

— Иди с богом!

Он, привыкший с детства беспрекословно верить ей, и сейчас поверил, что «Грушецкие живучи» и ему еще не раз придется свидеться с матерью.

Не удалась его поездка в Москву! Решительно не удалась. И с матушкой плохо, и в делах неудача. Как он

скажет Сергею Муравьеву-Апостолу, что не сумел договориться с москвичами?

«Ну, он-то поймет! А вот Пестель?..» — с сомнением подумал Михаил Павлович.

Отправляясь в Москву, Бестужев-Рюмин должен был на обратном пути проехать в Тульчин к Пестелю и доложить о переговорах. Но теперь, зная его непреклонный и угрюмый нрав, не решался. Правда, Бестужеву-Рюмину порой казалось, что Павел Иванович Пестель напускает на себя излишнюю строгость. Михаил Павлович понимал его. Политический деятель, вождь должен быть непререкаемым авторитетом. Надо отдать справедливость Пестелю, он своего добился: его уважали и побаивались. Уважали за ум и решительность, за справедливое отношение к солдатам. Побайвались за резкость суждений, непреклонность в решениях, вспыльчивость. Многие его не любили и за глаза говорили, что он властолюбив и не в меру крут. А Бестужев-Рюмин любил.

Порой он ловил себя на том, что невольно подражает Пестелю в манере разговора, повторяет его слова и мысли. Он знал, как трудно заслужить расположение Павла Ивановича, и потому одно лишь слово, одобрительный взгляд, жест, дрогнувшие в редкой улыбке губы делали его счастливым.

Как он был горд, когда Пестель поручил ему переписывать и распространять среди членов тайного общества главы «Русской правды», проекта законоположения будущего свободного государства Российского. Переписывая «Русскую правду», Михаил Павлович запомнил наизусть целые главы. Не раз замечал он ревнивые взгляды Сергея Муравьева-Апостола, когда на собраниях в Лещинском лагере, увлекшись, начинал их вдохновенно декламировать.

Конечно, к Пестелю он относился не так, как к Му-

равьеву-Апостолу. Пестель для Михаила Павловича был любимым и уважаемым командиром, вождем. А Сергей Иванович — друг, и, ни на минуту не задумываясь, он пожертвовал бы за него жизнью.

Как возникла эта дружба?

Сергей Муравьев-Апостол был старше Бестужева-Рюмина на семь лет — вроде бы и немного, но в его отношении к этому юноше присутствовало что-то отеческое, заботливое. Может быть, потому, что он знал его еще совсем мальчиком. Мачеха Сергея Ивановича была урожденная Грушецкая и приходилась родственницей матери Бестужева-Рюмина.

Сергей Иванович привык видеть Мишеля на семейных торжествах среди детей, а дети даже обедали за отдельным столом. И какое было дело ему, офицеру, окончившему французский коллеж, до восторженного громкоголосого мальчишки? Потом служба в одном полку. Сергей Иванович стал приглядываться к Бестужеву-Рюмину и скоро понял, что за восторженными, порой по-юношески выпренными фразами крылась глубокая мысль и желание посвятить себя борьбе за свободу народа русского. Сергею Ивановичу все вспоминались пушкинские строки:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

«Не случайно написал Пушкин это «пока», — мысленно рассуждал Сергей Муравьев. — Наша обязанность, именно пока он молод, указать путь, как посвятить отчизне прекрасные порывы души. Нельзя дать остынуть жару щедрого сердца...»

С каждым разом разговоры их становились все продолжительнее и душевнее. Михаил Павлович, сам того

не замечая, становился все смелее и откровеннее в суждениях и уже сам искал встреч с Сергеем Муравьевым-Апостолом. Ведь до сих пор с ним никто никогда не разговаривал так серьезно и уважительно. Поняв и поверив этому, Михаил Павлович со всей щедростью юности полюбил этого красивого, мечтательного человека, за внешней мягкостью которого сквозила душевная негибаемость и отвага. И не было у него теперь друга дороже и ближе. Они стали неразлучны.

А в нынешнем, 1823 году Сергей Иванович Муравьев-Апостол оказал высшее доверие Бестужеву-Рюмину, приняв его в тайное общество, одним из основателей которого являлся.

С тех пор общее дело еще крепче спаяло их дружбу...

...Тоненькие деревца, которыми была обсажена дорога, бросали четкие черные тени, и дорога казалась разлинованной, словно страницы в нотной тетрадке.

— Что, ваше благородье, обедать в этом трактире будете или дальше поедем? — оборачиваясь, спросил ямщик и добавил просительно: — К постоялому двору подъезжаем... Жара-то какая, может, передохнем, а?

— Сворачивай! — коротко, стараясь быть строгим, приказал Михаил Павлович.

*

Пока обедали, меняли лошадей, набежала легкая тучка и окатила землю звонким, веселым дождем. Сразу погас зной, осела пыль — полегчало. Не полегчало только на душе у Михаила Павловича.

Летом нынешнего, 1823 года девятая дивизия, в которой служили Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бесту-



жев-Рюмин, находилась на крепостных работах в Бобруйске. Император Александр I должен был делать смотр войскам, и Сергей Муравьев-Апостол предполагал с помощью членов Южного общества арестовать царя, брата его великого князя Николая Павловича и генерала Дибича. Затем намечено было организовать возмущение в лагере и, оставив в Бобруйске гарнизон, двинуться на Москву, увлекая по дороге другие войска.

С этой целью и отправил Муравьев-Апостол друга своего Бестужева-Рюмина в Москву, послав с ним пись-

мо члену Северного общества Сергею Волконскому с призывом поддержать намечавшиеся действия. Волконский прислал ответ, в котором умолял отказаться от «безумного и несозревшего плана». Якушкин же вообще отказался разговаривать.

Михаил Павлович понимал: неудача поездки вызвана нерешительностью членов Московского общества. И все же ему казалось, что, не будь он таким неказистым и маленьким, не будь у него этих рыжих веснушек, с ним разговаривали бы по-иному. Ведь в свое время именно небольшой рост и неказистость сыграли роковую роль в его судьбе...

Бестужев-Рюмин откинулся на кожаные подушки, подставляя лицо влажному ветерку, и задумался. Мерное покачивание возка и перестук копыт по мягкой дорожке успокаивали, придавали мыслям спокойную медлительность.

Он думал о том, что в жизни каждого человека наступает такое время, когда необходимо остановиться и оглядеться, подумать о том, как жить дальше. Видно, и у него в жизни наступил такой момент...

Родители долго держали Мишу при себе — младший ведь! Сначала в родовом имении Горбатовском, потом в Москве, где он учился в университетском пансионе. А когда пришло время служить, отправили в Петербург и определили в кавалергарды. Но командир лейб-гвардии Кавалергардского полка, недовольный посадкой Бестужева-Рюмина и его малым ростом, попросил перевести Мишеля в другой полк. Его перевели в Семеновский полк. Малый рост и плохая посадка определили его судьбу.

Поначалу все шло хорошо. Семеновским полком командовал мягкий и гуманный человек генерал Потемкин. Но его сменил полковник Шварц — немец, педант, сухой и бессердечный. Отныне целые дни проходили в

муштре и учениях. Даже праздники были отменены. За малейшую провинность Шварц ругал солдат площадной бранью, плевал в лицо, дергал за усы. Пороли даже тех, кто имел знаки отличия военного ордена, хотя по закону эти солдаты от телесных наказаний освобождались. Шварц строил солдат шеренгами друг против друга и заставлял одну шеренгу бить другую по щекам. Он требовал, чтобы амуниция всегда блестела, как на параде, и от постоянной чистки она скоро приходила в негодность. Многие вещи солдатам приходилось покупать на свои деньги. Между тем, занятые непрерывными учениями и чисткой амуниции, они не имели времени ходить на вольные работы, чтобы заработать.

Шварц учил солдат не столько военному искусству, сколько цирковым номерам: ставил на кивер стакан с водой и заставлял маршировать, требуя, чтобы вода в стакане не расплескалась. Ну, а уж если расплещется, пеняй на себя!

Офицеры ненавидели Шварца, не стесняясь присутствием солдат, на все лады ругали его. И вот терпению их пришел конец, и было решено потребовать от Шварца объяснений. Но начальник штаба гвардейского корпуса Бенкендорф, прослышав об этом, вызвал батальонных командиров и уговорил их не подвергать себя государеву гневу.

Солдаты тоже были недовольны и ждали приезда царя, чтобы ему в собственные руки передать жалобу на Шварца.

Александр I находился в это время в Троппау, где был созван конгресс, на который съехались представители Священного союза от пяти держав — Англии, Австрии, России, Пруссии и Франции.

Священный союз возник после победы над Наполеоном по инициативе трех правителей — русского царя,

австрийского императора и прусского короля. Связанные узами «истинного и нерасторжимого братства», императоры обязались оказывать друг другу поддержку «по всякому случаю и при всяких обстоятельствах».

Случай не замедлил явиться. В 1820 году в Испании вспыхнуло восстание, которое возглавил полковник Риего. Восставшие требовали восстановить конституцию, отмененную королем. Священный союз направил в Испанию французские войска. Они подавили восстание. Риего был схвачен и казнен.

Следом за Испанией итальянские карбонарии потребовали введения конституции в Неаполитанском королевстве. Священный союз снова вмешался. Австрийские войска подавили неаполитанскую революцию. Но искры ее перекинулись на север Италии, в Пьемонт. Австрийские войска восстановили там абсолютистский режим.

Занятый наведением «порядка» в Европе, Александр I долго не возвращался в Россию. И терпению семеновцев пришел конец.

На всю жизнь запомнил Михаил Павлович Бестужев-Рюмин хмурый день 16 октября 1820 года. Дождь, перемешанный со снегом, бился в окна казармы, в трубах завывал гнусавый октябрьский ветер. В этот день, серый и слякотный, рота его величества заявила «жалобу» своему ротному командиру.

Корпусной командир распорядился привести роту сначала в штаб, а оттуда отправил ее под конвоем прямо в Петропавловскую крепость.

Узнав о судьбе своих товарищей, взбунтовались солдаты других рот.

— Государева рота погибает! Не отстанем от своих братьев!

Командиры метались, пытались успокоить солдат. Сергей Муравьев-Апостол понимал, что стихийный

бунт ничего не даст. Он предвидел его гибельные последствия и старался сделать все, чтобы сберечь солдат.

Он был бледен, губы его дрожали, но в голосе слышалась твердость и непреклонность.

— Четыре года я командую вами, — говорил он солдатам. — Я знаю, что заслужил ваше доверие и любовь. Так послушайте меня и не губите себя!

Слух о бунте в Семеновском полку разнесся по городу. Несколько дней волновался Петербург. Казалось, город находился на осадном положении. По ночам к генерал-губернатору каждые полчаса являлись частные приставы с донесениями о том, что происходило на их участках. Курьеры и жандармы то и дело проносились на лихачах по опустелым петербургским улицам.

Только и разговоров было, что о семеновском бунте. Поговаривали о том (шепотом!), что в казармах гвардейских полков находят неизвестно кем подброшенные прокламации. Кто написал их, точно не знали.

Так же шепотом пересказывали друг другу и текст прокламаций. Особенно взволновала петербуржцев одна фраза — «арестовать всех теперешних начальников и избрать новых из своего брата солдата!».

Одни повторяли эту фразу с сочувствием, другие посмеиваясь, третьи с негодованием: «Ишь, под черную ходить захотелось! Доиграетесь, господа, со своей любовью к российскому мужичку!»

Вскоре прибыл курьер от императора и привез указ. Страшный указ. Семеновский полк расформировать, офицеров перевести в армейские полки, а первый батальон, как зачинщиков бунта, предать военному суду.

Решение суда не замедлило последовать: восемь солдат прогнать сквозь строй через батальон. Остальных — в Сибирь. Все понимали, что восьмью несчастным определили смертную казнь.

И снова в городе ждали волнений. Но семеновцы встретили приговор со спокойной мужественностью, как подобает воинам.

Никогда не забудет Михаил Павлович выражение достоинства и собственной правоты на лицах солдат. В тот день старый Семеновский полк последний раз был собран, чтобы стать свидетелем тому, как будут умирать под палочными ударами герои, столько раз бесстрашно дравшиеся на поле брани во славу своего отечества.

После казни был объявлен еще один приказ: «Офицерам вместе с солдатами немедленно отправляться к местам новых назначений».

Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин были направлены в Полтавский пехотный полк.

«Как прекрасен был Сережа в те дни!..» — с восхищением подумал Бестужев-Рюмин о своем старшем друге.

Сергей Иванович исхудал, побледнел, глаза его горестно светились. Бестужев-Рюмин вспомнил, как однажды увидел его утром и испугался: этот двадцатипятилетний человек показался ему стариком.

— Вы больны? — тревожно спросил его тогда Бестужев-Рюмин.

— Я здоров!

— Но ваше лицо...

— Радоваться нечему, дела невеселы! — коротко и резко ответил Муравьев-Апостол и добавил: — К месту назначения пешком идем, а солдатам обуви не дают. У отца две тысячи взял, куплю своему батальону сапоги...

Они еще не были так дружны тогда, но Михаил Павлович не удержался и крепко обнял Сергея Ивановича. Муравьев-Апостол вдруг улыбнулся застенчиво и робко, и его побледневшее, постаревшее лицо порозовело.

— Что ж, значит, вместе будем? — сказал он. — Нас, петербургских, на Украине много собирается. Они о нас еще услышат! — словно грозя кому-то, проговорил он.

Не с этого ли разговора началась их дружба?..

А потом тяжелый путь. Люди страдали от усталости и жажды. Еды не хватало. В те дни Бестужев-Рюмин впервые со всей отчетливостью понял, что народ не спасешь благотворительностью, что необходимо сделать так, чтобы все люди стали равны перед законом и властью.

Как он искал тогда каждого удобного случая, чтобы поговорить с Сергеем Муравьевым-Апостолом!

Впрочем, он и сейчас с таким же нетерпением ожидал встречи с ним. Почти месяц не виделись.

«Скорее бы, скорее...» — нетерпеливо думал Михаил Павлович. Он то и дело поглядывал за окно возка, считая полосатые верстовые столбы, бегущие навстречу. Пусть неудачной была его поездка в Москву, но только тот, кто бездействует, не терпит неудач.

Товарищи еще поверят в него!



ГЛАВА ВТОРАЯ В КАМЕНКЕ

Осень в этом году выдалась на редкость ясная и теплая. Кончался ноябрь, а снега не было и в помине. Желтая и красная листва, схваченная ночными заморозками, не облетала, и низкорослые леса и перелески стояли яркие и пестрые, как расписные терема. Только рассветами иней ложился на увядшую траву, и земля становилась мерзлой и звонкой.

Катрин легко шла по дорожке, ведущей к гроту, вдыхая холодный, пропахший увядающей листвой воздух, глядя, как несмелые лучи ноябрьского солнца пробиваются из-за противоположного берега реки Тясмин и бледные блики плавают по стылой воде.

В доме все еще спали, а она, тихонько одевшись, вышла в сад одна побродить, посидеть в каменном гроте, с которым связано столько воспоминаний — здесь Мишель впервые сказал ей о своих чувствах.

Катрин огляделась: как хорошо! Яркое безоблачное небо стало над пестрой осенней землей. Поблескивали маковки двух церквей, из села доносилось громкое кукареканье, где-то вдали позванивали ведра — девушки шли на реку за водой.

Ноги в туго зашнурованных высоких башмачках стали мерзнуть, она глубже спрятала руки в пушистую беличью муфточку и торопливо, чтобы согреться, легкими шагами побежала к дому, где уже раздавалось дребезжание колокольчика, созывающего к завтраку все большое семейство Давыдовых и Раевских.

«Через три дня екатеринин день! — весело думала Катрин. — Значит, Мишель обязательно придет!»

Жизнь была, безусловно, прекрасна...

*

Каждый раз, спускаясь извилистым проселком в долину, где, пересекая село Каменку на две части, текла река Тясмин, Бестужев-Рюмин с волнением вспоминал свой первый приезд сюда.

Это было осенью 1821 года. Переведенный тогда из гвардии в армию после бунта Семеновского полка, Михаил Павлович находился в тяжелом настроении. Чтобы рассеять его, Сергей Муравьев-Апостол, который ехал в родовое свое миргородское поместье Хомулец, сказал:

— Заедем со мной по пути в Каменку! Там в екатеринин день весело, три именинницы: сама Екатерина Николаевна Давыдова и две внучки ее, кузины Катрин — дочери Василия Львовича и Софьи Львовны Давыдовых...

Они поехали. Этот приезд памятен особенно был Бестужеву-Рюмину еще и потому, что там впервые увидел

он свою Катрин. Но тогда он весь был поглощен совсем иным.

Больше всего на свете Бестужев-Рюмин любил вольность и стихи. Его божеством был Пушкин, сочинитель вольнолюбивых стихов.

В первый свой приезд в Каменку он встретил здесь Александра Сергеевича Пушкина.

С тех пор прошло два года, а Михаил Павлович не мог забыть волнения и трепета, которые испытал, увидев того, чьи стихи повторял беспрерывно, переписывал в тетрадки. Стихи, от которых мужеством и отвагой загоралось сердце:

Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы...

Как часто, сжимая кулаки, шептал Михаил Павлович эти слова. Немощные, именно немощные...

Он прожил тогда в Каменке несколько дней. И все дни были заполнены Пушкиным. Его незабываемым, неожиданно возникающим, словно вспыхивающим смехом, его точными острыми суждениями о русской словесности, его движениями — порывистыми и угловатыми. В общении Пушкин был труден, раздражителен, обижался на каждое неловко сказанное слово. Но Бестужев-Рюмин с восторгом относился к своему кумиру, краснел и смущался, когда Пушкин обращался к нему. Пушкин заметил это и все ласковее поглядывал на застенчивого юношу, так откровенно обожавшего его. Порой улыбался ему ободряюще и даже заговорщически.

В Каменке в ту пору было много гостей: Якушкин,

Орлов, Раевские. Вечера проводили в кабинете Василия Львовича Давыдова, ревностного члена тайного общества (о чем, впрочем, тогда Бестужев-Рюмин и не подозревал). Спорили, курили, шумели. Россия, мятеж, революция, свобода — эти слова звучали непрерывно.

Особенно запомнился Бестужеву-Рюмину последний вечер перед отъездом. Споры разгорались все жарче. Чтобы придать разговору порядок, шутя избрали «президентом» Раевского. Высокий, черноволосый, он полухитро, полухажно управлял течением разговора. Никто не имел права начать говорить, не испросив у него дозволения. И если все-таки шум начинался, Раевский громко звонил в колокольчик.

— Как вы думаете, господа, насколько было бы полезно учреждение в России тайного общества? — вдруг спросил Орлов, испытующе глядя на присутствующих. (Ведь очень немногие из каменных гостей в ту пору знали, что такое общество уже существует.)

Наступила тишина.

Первым заговорил Пушкин. С жаром доказывал он, какую огромную пользу могло бы принести России создание тайного общества.

Якушкин же, один из старейших членов общества, в целях конспирации стал доказывать обратное.

— Да мне нетрудно доказать, что и вы шутите! — обратился он к Пушкину. — Я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало тайное общество, вы, наверно, к нему не присоединились?

— Напротив! — горячо воскликнул Пушкин. — Наверное бы присоединился!

— В таком случае давайте вашу руку... — медленно и серьезно проговорил Якушкин.

Пушкин порывистым движением протянул руку. Якушкин рассмеялся.

— Но ведь это только шутка!..

Пушкин вскочил раскрасневшийся, взволнованный. В его синих глазах стояли слезы.

— Я никогда не был так несчастлив, как теперь! — с горечью проговорил он, и голос его дрогнул. — Я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой. И все это была только злая шутка...

Он быстрым шагом не вышел — выбежал из кабинета.

Бестужев-Рюмин бросился за ним. Он искал Пушкина по всему огромному каменскому дому. Так хотелось сказать ему самые лучшие, самые добрые слова. Но не нашел...

А когда в прошлом году Сергей Муравьев-Апостол оказал Бестужеву-Рюмину высшее доверие и принял его в члены тайного общества, Михаил Павлович спросил, почему не был удостоен этой чести Пушкин.

Сергей Иванович поднял на Бестужева-Рюмина свои задумчивые серые глаза и, помолчав, серьезно сказал:

— Пушкин принадлежит России. Он ее слава и ее гордость. Разве можем мы знать, что готовит нам будущее? Так имеем ли мы право рисковать его судьбой?

...Вот уже виден на взгорье большой двухэтажный дом с пристройками. За ним старый сад, уступами спускающийся к реке.

Милый каменский дом! Он принес Бестужеву-Рюмину исполнение всех его мечтаний. Здесь обрел он верных друзей, здесь встретил ту, что навсегда завладела его душой...

В доме царила предпраздничная суета. Размещали гостей, дошивали бальные наряды барышням, срезали лучшие цветы в оранжереях, кололи скот, резали птицу.

Екатерина Николаевна, урожденная графиня Самойлова, приходилась племянницей светлейшему князю Потемкину, фавориту Екатерины II. От первого брака у нее был сын Николай Раевский, защитник Смоленска, герой Бородина. Жил он в Киеве, но частенько навещал родное каменское гнездо. Сыновья Екатерины Николаевны от второго брака Александр и Василий жили вместе с нею в Каменке.

Старший, Александр Львович Давыдов, тучный, неподвижный, всегда словно невыспавшийся, был женат на красавице француженке Аглае Грамонт и от нее имел двух дочерей — Катрин и Адель. Он был гурман: сам любил покушать и других попотчевать.

Василий Львович являлся полной противоположностью брату. Веселый, говорливый, живой. Одним из первых вступил он в тайное общество, и с тех пор каменский дом стал местом постоянных встреч членов общества.

Александр со своим семейством занимал нижнюю левую часть большого каменского дома. Василий жил справа, в особой пристройке.

Середину дома занимала сама Екатерина Николаевна. Сюда, в длинную, увешанную фамильными портретами нижнюю гостиную, в часы трапезы собиралась вся семья.

Воспользовавшись предпраздничной суетой, мужчины уединились на половине Василия Львовича, в большом просторном кабинете с тяжелой кожаной мебелью. Сегодня в Каменку съехались Сергей Григорьевич Волконский, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Сергей Ива-

нович Муравьев-Апостол. Ждали Пестеля, который почему-то запаздывал.

— Не может со своим полком расстаться! — пошутил Волконский, затягиваясь трубкой.

— Полк у него, что говорить, образцовый, — серьезно сказал Сергей Иванович Муравьев-Апостол. — А еще два года назад, когда он принял его, считался худшим во всей Южной армии...

— Усердие Павла Ивановича в пожертвовании собственных денег столь благотворно отразилось на положении полка, что сам начальник штаба граф Киселев нахвалиться не может! — подхватил Василий Львович Давыдов.

— А государь на нынешнем смотре пожаловал Пестелю в награду три тысячи десятин земли, — добавил Волконский. — Да только без крестьян. «Крестьян не дарю, это жестоко!» — изволил сказать государь.

— Жестоко! — с возмущением воскликнул Бестужев-Рюмин. — И он еще смеет говорить о жестокости... Не кажется ли вам, господа, что создание военных поселений сделалось пунктом помешательства нашего императора? История не видела ничего подобного! Взять широкую полосу земли, протянуть ее с севера до Черного моря и превратить крестьян в военнослужащих! Крестьяне восстанут, Аракчеев расстреливает их из пушек, запарывает до смерти, и «порядок» торжествует.

От волнения Бестужев-Рюмин чуть заикался, глаза его были сухими и злыми.

В комнате воцарилось молчание, и стало слышно, как за окнами порывами налетает ветер и с легким шумом осыпаются с деревьев последние листья.

— Да, — нарушил тягостное молчание Сергей Муравьев-Апостол. — Мы победили Европу, освободили мир,

а сами остались рабами. Внизу, вверху — все неволя, рабство! Ни суда, ни голоса...

— Одна надежда на милость царскую... — зло усмехнулся Василий Львович Давыдов.

— Еще зимой нынешнего года, на съезде нашем, помните, друзья, я спорил с Пестелем, — продолжал Сергей Муравьев-Апостол, — говорил, что не согласен на уничтожение царской фамилии и самого государя императора? А теперь понял, как ни прискорбно начинать новую эпоху в России пролитием крови, без этого не обойтись!

— Жаль, что Пестель запаздывает и не слышит твоих слов! — восторженно воскликнул Бестужев-Рюмин.

...А в доме, за стенами кабинета, продолжались праздничные приготовления, позвякивало фамильное серебро, севрский фарфор и хрусталь баккара, шуршали крахмальные скатерти и салфетки. И никому в голову не могло прийти, что в одной из комнат этого дома, где шла от века установленная, исполненная роскоши и праздности жизнь, люди говорят и думают о том, как разрушить эту жизнь, взорвать устои, на которых она зиждется. Выросшие в барстве, они, казалось, должны были бы стать продолжателями и преемниками дедовских традиций. Как же получилось, что все вышло совсем иначе?..

Они, победившие Наполеона, со славой вступившие в Париж, вернувшись на родину, стали смотреть на все иными глазами.

Было что-то мучительное в контрасте между родной победоносной вне своих границ и угнетенной внутри.

Поначалу они мечтали, что Александр I по своей ини-

циативе даст народу конституцию, освободит крестьян. Но скоро поняли, что этого не будет.

Тогда-то и зародилась среди русских офицеров мысль о необходимости революционного переворота.

В 1816 году в Петербурге шесть гвардейских офицеров — Александр Николаевич Муравьев, Никита Михайлович Муравьев, Иван Дмитриевич Якушкин, Сергей Петрович Трубецкой, Сергей Иванович и Матвей Иванович Муравьевы-Апостолы — основали первое в истории России тайное революционное общество.

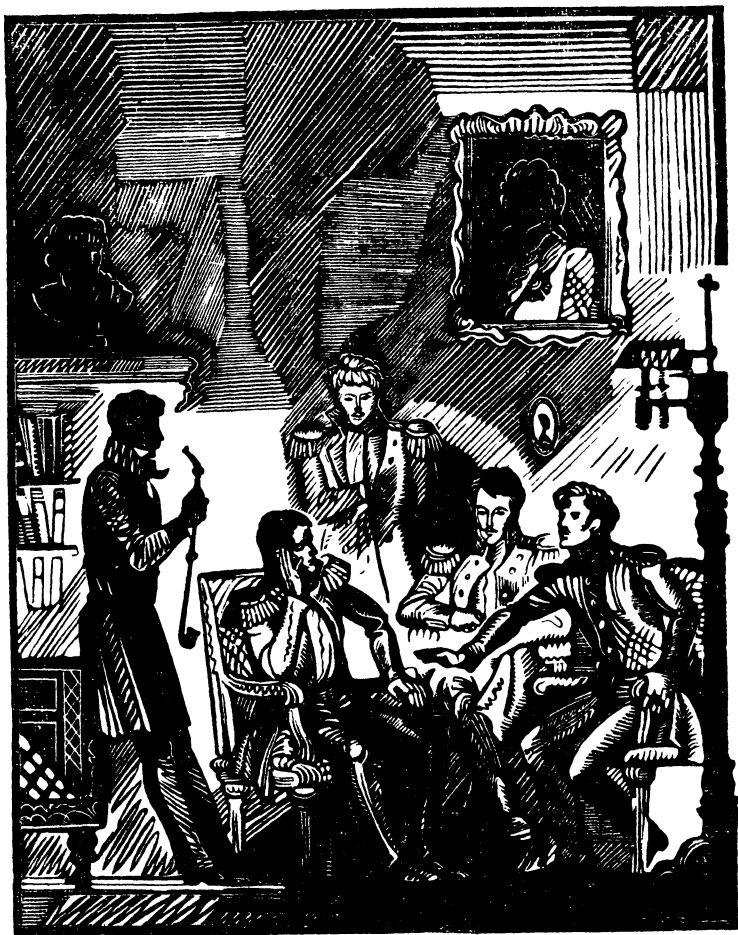
«Союз спасения» — называлось это общество. Само название указывало его цель — спасти Россию. А это значило бороться против царя и крепостничества. Тайная организация пополнялась все новыми членами. Вступил в общество Павел Иванович Пестель.

В 1818 году общество было якобы распущено и восставлено под новым названием «Союз благоденствия». Оно насчитывало около двухсот членов, и руководила им Коренная управа.

В январе 1821 года в Москве собрался съезд Коренной управы Союза благоденствия. Съезд снова объявил союз распущенным. Под прикрытием этого постановления, облежавшего отсев ненадежных членов, тайное общество было опять реорганизовано. Возникли два общества: Южное — с центром в Тульчине под руководством полковника Пестеля и Северное — в Петербурге, основное ядро которого составили: Никита Муравьев, Николай Тургенев, Сергей Трубецкой, Иван Пущин и Евгений Оболенский.

Северное общество хотело просветительной работой постепенно готовить народ к перевороту.

Южное видело спасение России в немедленном восстании.



Северяне предполагали предоставить самому народу решить вопрос о преобразовании государства.

Южане хотели произвести это преобразование революционным путем.

Члены Северного общества надеялись вынудить у правительства уступки военной манифестацией.

Члены Южного общества настаивали на том, чтобы свергнуть царскую власть путем вооруженного восстания.

Глава Южного общества полковник Пестель обладал железной волей политика и революционера, шел к цели прямо и неуклонно. Пестель был республиканцем, и большинство членов Южного общества, находясь под его влиянием, считали республиканский строй единственно возможным для России.

Северное общество предпочитало республике ограниченную монархию. Оно не спешило с переворотом, откладывая его до смерти царя Александра I. Правда, программа Северного общества не до конца отвергала царевубийство. Но единой точки зрения на этот вопрос в обществе не было. Самая организация восстания представлялась северянам весьма смутно. Предполагалось после смерти императора предложить сенату — высшему государственному учреждению, ведавшему судебными делами, — образовать временное правление, которое в самый короткий срок созвало бы Великий собор. Все сословия должны были послать на Великий собор своих выборных и установить новый образ правления России...

...— Итак, господа, — обратился Сергей Муравьев-Апостол к окружающим, — мы очень сожалеем, что нам не удалось договориться в Москве о наших совместных действиях. Я предлагаю продолжить этот разговор сегодня. Итак, главная наша сила — армия. Солдаты пойдут за нами.

— Пойдут ли? — с сомнением покачал головой Волконский.

— На край света пойдут! — горячо поддержал друга Бестужев-Рюмин. — Рядовой Апойченко поклялся мне привести целый Саратовский полк без офицеров и на первом же смотре застрелить государя из ружья! Сейчас мы положили за главное — умножать неудовольствие солдат к службе, их ненависть к высшему начальству...

— Это не так уж трудно, — грустно усмехнулся Сергей Муравьев-Апостол. — Достаточно поглядеть на полковника Гебеля. Этот поляк, изменивший своей родине, ненавидит русских солдат. Я однажды видел, как он по земле ползал и проверял, хорошо ли у солдат носки вытянуты. Избивает он солдат так, что палки в мочалку превращаются...

— Вот-вот! — подхватил Бестужев-Рюмин. — А мы внушаем солдатам, что наказание палками противно естеству человеческого! Главная задача — не дать им впасть в уныние, вселить уверенность, что должна и может перемениться их судьба!

Дверь в кабинет приоткрылась, и показалась тоненькая девичья ручка в кисейном манжетике, а следом за ручкой возникла черная головка в крупных локонах с широким голубым бантом на затылке.

— Бабушка сердится, что вы удалились, — сказала она по-французски, мило картавя. — Гости съехали, а вы все разговариваете и трубками дымите...

— Хорошо, Адельюшка, иди! Мы за тобой следом, — ласково поглядев на племянницу, сказал Василий Львович Давыдов. — Да скажи матушке, чтобы не гневалась.

— А на вас сестрица страх как сердится, — хитро сощурившись, сказала Адель, бросив выразительный взгляд на Бестужева-Рюмина, и яркая краска залила его веснушчатое лицо.

Пестель приехал лишь на следующий день.

Веселье было в самом разгаре. Без усталости гремел оркестр, легкие пары кружились в большом зале. Пожалуй, больше всех и лучше всех танцевал в тот вечер Бестужев-Рюмин. Он издавна славился как отличный танцор, и, когда сегодня танцевал с другими барышнями, Катрин поглядывала на него ревниво. Но сейчас он стремительно кружил ее по зале, и она была счастлива. Локоны разлетались, глаза сияли. Позови он ее сейчас — она полетела бы за ним на край света...

— Мишель, — вдруг раздался ласковый голос Сергея Муравьева-Апостола. — Удели внимание и нам, грешным! Пойдем в кабинет к Василию Львовичу. Дама твоя, верно, устала....

— Сильфиды не устают! — весело отозвался Бестужев-Рюмин, однако тут же послушно передал Катрин другому кавалеру и последовал за Сергеем Ивановичем.

Они вошли в кабинет. Табачный дым синими слоями плавал в воздухе. После блеска залы здесь было сумеречно. Музыка еще звучала в ушах Михаила Павловича, и, словно сквозь ее веселую беззаботную радость, услышал он сердитый голос Василия Львовича Давыдова:

— Неужели мы в сотый раз должны обсуждать эти необдуманные проекты? Неужели испанские события вас ничему не научили?

— Научили и очень многому, — с порога заговорил Сергей Муравьев-Апостол. — Павел Иванович сегодня весьма толково доказал, что начинать должно в столице. Риго начал не в столице. Квируга поддержал его тоже весьма далеко от столицы... Мы должны сегодня обсудить, как удачно провести переворот. Я признаю, что Риго сделал ошибку, не перебив своих Бурбонов. Ему не следовало верить конституцию королю...



— Вот потому-то я и настаиваю на уничтожении всей царской фамилии! — обрадованно сказал Пестель, и голос его зазвучал непривычно живо. До сих пор пункт об уничтожении царской семьи был главным, вызывающим разногласия в мнениях Муравьева-Апостола и Пестеля. — Не то вдруг у кого-нибудь возникнет мысль: «Не найдется ли среди Романовых хорошего царя?» Переворот должен быть совершен сразу и в столице и у нас!

— Да, да, конечно! — согласился Сергей Муравьев-Апостол. — Но я настаиваю: действовать надо скорее.

Или вы забыли случай с князем Сергеем Григорьевичем Волконским?

Ему никто не ответил, но все поняли, о чем идет речь.

Нынешним летом на смотре, когда мимо царя проходила бригада генерал-майора Волконского, сам Волконский, пропуская бригаду, придержал лошадь и встал неподалеку от царя. Бригада прошла, Волконский хотел было отъехать, как вдруг услышал, что царь просит его приблизиться.

— Я очень доволен вашей бригадой, — с любезной улыбкой сказал Александр I. — Азовский полк один из лучших полков моей армии. Днепровский поотстал немного, но и в нем видны следы ваших трудов. — И, не изменяя ласково-покровительственного тона, не убирая с лица сладкой улыбки, добавил:

— По-моему, гораздо для вас выгоднее продолжать оные, а не заниматься управлением моей империи, в чем вы, извините меня, толку не знаете!

Царь отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

С тех пор тревога закралась в сердца заговорщиков.

— А все Север... — проворчал Василий Львович Давыдов.

— Петербург надо тревожить частыми набегами! — решительно сказал Бестужев-Рюмин и улыбнулся, радуясь удачному сравнению. — Да, да, господа, мы из своих половецких степей должны тревожить северную столицу.

— Ах ты, новоявленный половецкий хан! — добродушно посмеиваясь, сказал Сергей Муравьев-Апостол. — А ведь он прав, друзья. Кому-то надо ехать в Петербург...

— Хорошо бы поехать вам, Павел Иванович, — обратился Волконский к Пестелю.

— Думаю, что мне это удастся лишь в конце декаб-

ря, — ответил Пестель. — А вас, Мишель, я прошу составить доклад тайной директории о переговорах с польским обществом, чтобы я мог руководствоваться им при разговоре в Петербурге.

— Доклад подготовлен! — коротко и деловито ответил Бестужев-Рюмин. — Могу передать по первому требованию.

В январе 1823 года Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин встретились в Киеве, в доме генерала Раевского, с поляком графом Ходкевичем. Как-то само собой получилось, что разговор коснулся тайных обществ.

— Дошли до меня слухи, что и у вас такое составилось, — вдруг как бы невзначай сказал Ходкевич.

— Не предполагаем отпираться, — негромко ответил Сергей Иванович, пристально глядя на Ходкевича.

Наверное, это было неосмотрительно — так сразу признаваться почти незнакомому человеку. Но какое-то внутреннее чутье подсказывало Сергею Ивановичу, что Ходкевичу можно довериться.

— На откровенность считаю долгом ответить откровенностью, — так же негромко отозвался Ходкевич. — Я тоже являюсь членом общества. Наша цель: борьба за восстановление независимой Польши. Не считаете ли вы, господа, что неплохо было бы наладить связь между нашими обществами?

— Для этого нам нужно согласие большинства членов, — мягко возразил Сергей Иванович.

На «контактах» 1823 года Муравьев-Апостол сообщил о беседе с Ходкевичем и просил полномочий для ведения переговоров. Поначалу его предложение встретили настороженно. Полякам не доверяли. Но Сергею Ивановичу в конце концов удалось доказать необходимость союза

с поляками и заключения с ними соглашения, по которому поляки обязывались поднять восстание одновременно с русскими, оказывать всяческую поддержку и установить в Польше такой же строй, какой будет установлен в России. За это новое русское правительство должно было предоставить Польше независимость и передать области «не настолько обрусевшие, чтобы слиться душой» с Россией.

Бестужеву-Рюмину было поручено доложить о переговорах. Члены Южного общества остались весьма довольны этим докладом.

Бестужев-Рюмин был счастлив. Он чувствовал, как за последние месяцы изменилось к нему отношение товарищей. Те, кто раньше — и особенно после его неудачной поездки в Москву — поглядывал на него недоверчиво, теперь относились к нему с уважением и внимательно прислушивались к его мнению.

Вот и сейчас Пестель одобрительно кивнул головой, выслушав краткий ответ Бестужева-Рюмина. Все знали, как трудно добиться признания Пестеля. Знал это и Михаил Павлович, и потому сердце его заколотилось гулко и радостно.

— Ну что ж, друзья! — решительно произнес Пестель. — Как только получу отпуск — в Петербург! Постараюсь расшевелить северян...

— А сейчас, господа, ужинать! — весело воскликнул Василий Львович Давыдов. — У нас сегодня устрицы хороши! Брат за ними специально Шервуда в Крым посылал...

*

Иван Васильевич Шервуд весьма охотно исполнял поручения Александра Львовича Давыдова. Охотно прежде всего потому, что, занимаясь ими, можно было легко и хо-

рошо зарабатывать, а Иван Васильевич любил деньги. Александр Львович отчетов не спрашивал, лишь бы устрицы были свежи и подоспели ко времени — к очередному ли семейному празднику или просто к дружескому обеду.

Но была еще одна причина, что удерживала Шервуда возле каменского дома...

Джон Шервуд, или как его называли в России — Иван Васильевич, был сыном механика, по повелению Павла I приглашенного из Англии для работы на первых русских суконных фабриках. Поначалу дела англичанина в России шли успешно, он хорошо зарабатывал, дал детям отличное по тому времени образование. Иван Васильевич владел несколькими языками, был обучен механике.

Но вдруг фортуна изменила Шервудам — с начальством не ладили. Сразу сократились доходы. В 1819 году Иван Васильевич вынужден был поступить на военную службу в 3-й украинский уланский полк. Полковой командир полковник Гревс сразу заметил смышленного англичанина, приблизил его к себе и держал на посылках. Полк расположен был в шестидесяти верстах от Каменки, и Гревс не раз отправлял Шервуда к Давыдовым, с которыми был в приятельских отношениях. То мельницу исправить, то еще чем-нибудь помочь Александру Львовичу в его большом хозяйстве.

Наблюдательный и пронырливый Шервуд давно прислушивался к вольным разговорам, распространенным в Южной армии, к неосторожным офицерским толкам о «перемене в государстве». Не ускользнуло от его внимания и то, что в Каменку регулярно съезжаются одни и те же люди, что после обеда удаляются они на половину Василия Львовича, запираются там, спорят и к ужину выходят взволнованные, разгоряченные.

Иван Васильевич и так и сяк старался втереться к ним в доверие. Но, несмотря на все ухищрения, про-

никнуть в кабинет Василия Львовича ему не удалось. В противоположность брату, Василий Львович Шервуда терпеть не мог. Шервуд пытался подслушивать — тоже ничего не вышло. Да и опасно — глядишь, заметят, и лишишься прибыльного местечка.

Хитрое сердце Шервуда чувствовало, что тут что-то неладно. За дверью давыдовского кабинета кроется нечто такое, что, разгадай он тайну, придет к нему слава, и выбьется Шервуд в люди. Деньги получит, офицерское звание, о котором вот уже несколько лет мечтает...

Шервуд как ищейка принюхивался, шел по следу. На его белобрысом с водянистыми глазами лице установилось выжидательное и настороженное выражение.

Не будь он шервудского рода, если не удастся ему выслужиться перед русским государем императором!



ГЛАВА ТРЕТЬЯ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

С вечера Рылеев засиделся за письменным столом — хорошо работалось. А когда далеко за полночь лег в постель, заснуть не мог. Нервы были напряжены, в голове мозжило, он ворочался с боку на бок до самого рассвета, потом ненадолго задремал и, открыв глаза, долго не мог понять — утро или вечер: за окном мглисто серело.

Сумрачны петербургские зимы...

Он полежал, чувствуя себя разбитым и усталым, потом нехотя поднялся, выпил чашку крепкого кофе. Сонливость и разбитость не проходили.

Рылеев слонялся по кабинету в халате, принимаясь то за деловые бумаги, то за книги, но никак не мог сосредоточиться.

В дверь позвонили. Рылеев прислушался. Через несколько мгновений на пороге кабинета появился князь

Оболенский. Не поздоровавшись, громко и взволнованно сказал с порога:

— Пестель приехал! Надо решать вопрос о соединении обществ — Северного и Южного...

Усталость словно рукой сняло. Взяв Оболенского под локоть, Рылеев стал ходить с ним по кабинету. Оболенский рассказывал, как всегда, медлительно и длинно:

— Вчера вечером собрались Тургенев, Трубецкой, Никита Муравьев и я... С нами встретился Пестель. Как он говорит! Его можно слушать часами...

— Но о чем именно он говорил?! — нетерпеливо перебил Рылеев.

— Упрекал нас. Пора, мол, направить все усилия к единой и ясной цели. А мы разобщены. Члены общества действуют сами по себе... Что может сделать один человек, будь он даже семи пядей во лбу?

— Я ли не раз говорил об этом на собраниях общества?! — волнуясь, воскликнул Рылеев. — Пестель прав, давно пора приниматься за дело. И решительно!

— Понимаешь ли, друг мой, — снова медлительно потянул Оболенский. — По существу, Пестель, вероятно, прав. Но если общества соединятся, мы, северяне, попадем под зависимость Пестеля. Он человек железной воли.

— Но мы не можем забывать, что всех нас объединяет общая цель! Царизм и крепостничество — вот наши враги, — явно начиная сердиться, сказал Рылеев. Он резким движением туго затянул крученный шелковый пояс халата, нетерпеливо теребя тяжелые кисти.

— Да, да, — как-то слишком поспешно согласился Оболенский. — Но Пестель на Юге, а как ты сам понимаешь, главные события должны произойти в Петербурге. Да и зачем нам диктатор?

Рылеев молчал. Значит, Пестель встречался со старейшими членами общества и не добился их согласия.



Почему же теперь Рылеев должен брать на себя всю ответственность? Имеет ли он на это право? Он молодой член общества. Лишь два года назад, в начале 1823 года, Пущин принял его в члены тайного общества, которое Рылеев нашел разобщенным и бездеятельным. Вскоре как-то само собой получилось, что его квартира у Синего моста стала центром, где собирались заговорщики. Теперь по вечерам в небольших комнатах его было шумно и многолюдно. Не смолкали споры, речи, стихи. Невысокий, стройный, с вьющимися каштановыми волосами, взбитыми

надо лбом, Рылеев ни минуты не сидел на месте, и его взволнованный голос слышался в разных концах квартиры.

Своими зажигательными речами он призывал товарищей к решительным действиям, осуждал действия правительства, обличал существующие порядки. Рылеев вербовал новых членов, писал стихи, зовущие к борьбе. Короче, он с такой страстью и энергией принялся за дела общества, что через некоторое время фактически стал его главой.

Оболенский понял замешательство Рылеева и настойчиво продолжал:

— На тебя у нас, Кондратий Федорович, вся надежда. Сам знаешь, за короткий срок ты заслужил в обществе любовь, уважение. Мы уверены, ты сумеешь договориться.

Итак, общество поручает ему вести переговоры с Пестелем о соединении обществ... Понимая всю важность этих переговоров, Рылеев и гордился оказанным ему доверием и тревожился.

— Ну, а если не договоримся?

— Уж ежели ты не договоришься, никто не сумеет! — с несвойственной ему убежденностью воскликнул Оболенский, и Рылеев почувствовал себя польщенным.

— Пусть придет! Передай, жду его завтра, — сказал он отчетливо и твердо.

*

В этот день в квартире Рылеева царила тишина. Жена и дочка уехали погостить в имение Батово. С Рылеевым оставался только кучер Петр. Он же исполнял обязанности слуги. Тихий, исполнительный, он никогда не мешал барину. В разговоры вступал редко, двигался бес-

шумно, мягко ступая в суконных туфлях. Стирал пыль, расставляя по местам разбросанные Рылеевым книги, поливал цветы, множество которых развела на окнах Наталья Михайловна, кормил канареек.

Рылеев любил оставаться с ним. Ощущение покоя и защищенности приходило в дом. Можно было сосредоточиться, писать, читать, думать — никто не мешал.

Пестель должен был прийти в четыре. Рылеев прошел в кабинет, велел Петру растопить камин и, помешивая длинной кочергой крупные мерцающие угли, нетерпеливо ждал.

Пестель явно задерживался. Рылеев взял том Монтескье и стал медленно читать вслух по-французски. Потом раскрыл том «Истории государства Российского», но тоже отложил и, поднявшись из-за бюро, стал торопливыми шагами ходить взад и вперед по кабинету, заложив руки за спину.

«Кажется, я слишком взволнован?» — с неудовольствием спросил он себя, и в этот момент негромкий и невозмутимый голос Петра доложил:

— Барин, к вам полковник Пестель!

Быстро повернувшись, Рылеев увидел Пестеля, который по-военному четко входил в кабинет.

— Очень рад, очень рад! — протягивая Пестелю обе руки, скороговоркой сказал Рылеев и быстро пошел на встречу.

Пестель протянул свою белую крупную руку и неожиданно улыбнулся широко и доверчиво.

Рылеев оглядел его быстрым оценивающим взглядом.

Пестель был почти одного роста с Рылеевым, плотный, коренастый. Черные блестящие волосы начинали редеть с висков. «От ума, сказала бы матушка!» — подумал про себя Рылеев, вспомнив, как Анастасия Матвеевна не раз повторяла, что умные люди лысеют со лба.

Темные глаза Пестеля глядели решительно и неподпускающе.

Рылеев продолжал дружелюбно трясти его руку, а Пестель уже нетерпеливо оглядывал комнату: где бы сесть?

Рылеев суетливо предложил ему кресло, а сам уселся за бюро, на привычное место.

Спокойным жестом Пестель откинул фалды военного сюртука и сел, чуть подавшись вперед всем телом. Задрожали и тоже подались вперед его серебряные эполеты.

Некоторое время они молчали, изучающе глядя друг на друга.

Наконец Пестель прервал молчание:

— Что ж, Рылеев, начнем?

Рылеев насторожился. Это больше было похоже на приглашение к барьеру, чем на начало дружеского разговора. Им и вправду предстояла словесная дуэль: кто кого убедит, тот и выйдет победителем.

— Вам известно, что я прибыл в Петербург предложить соединение обществ?

— Дело великое! К одной цели идем... — быстро заговорил Рылеев. — Это необходимо.

— Меня направили к вам, чтобы договориться окончательно, — раздельно и четко выговаривая каждое слово, продолжал Пестель.

Рылеев ничего не ответил, чуть наклонил вперед голову.

— Мы должны обсудить два вопроса, — так же раздельно продолжал Пестель. — Первое — медлительность и нерешительность действий Северного общества. Второе — наше сознательное действие. Не для почестей и наград начинаем мы! И не о дворцовом перевороте говорим, а об изменении существующего строя в России. Относи-

тельно этого мне и желательно было бы знать ваше мнение.

Рылеев не сводил глаз с плотного лица Пестеля, с его губ, строго произносящих слова, с красного суконного воротника, под которым билась на шее вздутая лиловатая жилка. Пестель замолчал, и Рылеев понял, что он ждет ответа.

— Уже одно то, что общество наше имеет отрасли в крупных центрах России и намерено действовать во имя единой великой цели — во имя блага Отечества, прекрасно! У нас с вами одна цель: борьба с тиранией самодержавия и освобождение крестьян. Да, мы должны объединиться...

Лицо Пестеля словно осветилось изнутри.

— Итак, — торжественно проговорил он. — Один вопрос в основном решен. Мелочи согласовать будет не трудно.

Почувствовав в Рылееве единомышленника, Пестель заговорил еще откровеннее. Слушая его, Рылеев невольно вспоминал, как, разговаривая с Трубецким, Оболенским, Никитой Муравьевым, он почти после каждой их фразы вмешивался, поправлял, указывал, спрашивал. В речь же Пестеля вмешаться было невозможно. Стройная система умозаключений словно скала, которую нельзя раздробить. Или подчиняться, или отойди, не то задавит!

Пестель говорил долго, осуждал Северное общество за медлительность, осуждал нерешительность его членов, но, вдруг почувствовав, что речь его превратилась в монолог, а собеседник упорно и намеренно молчит, он резко остановил себя:

— Я высказался!

Неловким движением Пестель достал из заднего кармана полотняный большой платок, медленно развер-

нул его, отер лоб, глаза и устало откинулся на спинку кресла.

Рылеев молчал.

Пестель снова попытался вызвать Рылеева на откровенность.

— Как вы полагаете, какой образ правления самый удобный и подобающий для России? — спросил он и сам стал отвечать медленно и подробно, как на экзамене.

Он начал издалека. Рассказал о законодательстве Греции и Рима, о средних веках, поглотивших гражданскую вольность и просвещение, долго говорил о событиях Французской революции. И наконец стал излагать свой проект будущего государственного устройства России.

— Мне думается, что за основу необходимо принять образ правления одного из существующих ныне государств...

— Я одного боюсь, — вдруг перебил его Рылеев. — Россия еще не готова для революции...

Пестель поднял на него тяжелый, насмешливый взгляд.

— «Что нужно Лондону, то рано для Москвы», как сказал Пушкин?

Рылеев поежился под его взглядом.

— Позвольте не согласиться с вами.

— А что до образа правления, — с трудом скрывая обиду, продолжал Рылеев, — я покоряюсь большинству членов общества.

— Вы знакомы с моей «Русской правдой»? — словно не слыша его слов, спросил Пестель.

— Весьма поверхностно. Я изучал конституцию Никиты Михайловича Муравьева.

Пестель усмехнулся.

— Муравьев пишет конституцию, искренне желая преобразований для России. Но, как вопрос доходит до действия, пугается. Странное он производит впечатление: человека ведут на казнь, а он просит ваты — уши заткнуть, чтобы не простудиться...

В камине затрещало и рассыпалось красными искрами сгоревшее полено. Рылеев поспешно сказал:

— Никита Михайлович перерабатывает некоторые пункты конституции...

Бесшумно вошел Петр, зажег свечи в канделябрах, опустил на окна тяжелые шторы и так же бесшумно, словно тень, удалился. Дождавшись, пока Петр выйдет, Пестель снова заговорил. Голос его был по-прежнему ровен, и только легкое подергивание пальцев выдавало волнение:

— Никита Михайлович неверно решает вопрос о землях. «Русская правда» предлагает иное решение. Помещичьи земли свыше десяти тысяч десятин должны быть конфискованы. Свыше пяти тысяч отданы на выкуп. Конфискованные земли, как помещичьи, так экономические и удельные, надобно в каждой деревне разделить на две половины. Одну отдать крестьянам в вечное пользование с правом продажи. Другую — приписать к деревням и селам, и наделять крестьян участками по их требованию. Начинать надо с тех, кто требует меньше, то есть с самых бедных. Этим уничтожим в России нищенство...

Все ярче разгорались свечи. Неяркие тени бежали по комнате, по книжным шкафам, где поблескивали золотом корешки книг, по пестрому потертому ковру. От спущенных штор в комнате стало уютно, тепло, и казалось, что нет за окнами шумного, суетливого города.

— Россия должна стать республикой с равноправием всех граждан! — чеканил слова Пестель. — Крепостное право и наследственные сословные привилегии должны

быть отменены. Основная ячейка будущего государства — волость...

Рылеев хотел было что-то сказать, но, взглянув в темные упрямые глаза Пестеля, подумал, что лучше дать ему высказаться до конца.

— Система управления строится на основе выборов с участием всех граждан, — продолжал Пестель. — Охраняя завоевания революции, необходимо наделить верховную власть большой силой, чтобы она могла железной рукой подавлять малейшее сопротивление. Переворот должно совершить войсками без участия народа. Восстание начинать одновременно в Петербурге и на Юге. В Петербурге устанавливается временное правительство, для чего необходимо истребление всех членов царской фамилии...

Рылеев слушал, невольно восхищаясь ясностью и продуманностью плана. Увы, в Северном обществе такой ясности покуда не существовало. Все больше споры, горячие речи.

Где-то в глубине квартиры тоненько пробили часы, и Рылеев прислушался, считая удары: «Раз... Два... Пять... Семь...» Он невольно поглядел в ту сторону, откуда доносился бой, и почувствовал, что Пестель перехватил его взгляд. Рылеев покраснел от смущения.

Пестель поднялся, огладил пуговицы сюртука и, засунув палец за ворот, оттянул его.

— Наш разговор длится больше двух часов, — сурово сказал он. И вдруг добавил другим, мягким и неожиданно просительным голосом: — Знаете что, Рылеев, может, мы договоримся хотя бы о том, чтобы сообщить друг другу необходимые сведения об обществах, как о Северном, так и о Южном? Я готов представить «Русскую правду».

— Да, да, конечно, — быстро согласился Рылеев.

Но, когда Пестель завел речь о новой встрече, Рылеев ответил отрывисто и даже резко:

— Только в присутствии Трубецкого, Тургенева, Оболенского и Никиты Михайловича Муравьева!

Пестель по-военному четко откланялся и вышел из кабинета. Рылеев слышал, как Петр помогал ему надеть шинель, как хлопнула входная дверь. Шаги Пестеля давно уже затихли, а Рылеев все сидел за бюро, обхватив голову руками, и чувствовал, что в эту ночь опять не уснуть.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Приезд Пестеля в Петербург был не напрасен. После долгих споров решили оставить Северное и Южное общество в их настоящем положении. до 1826 года. А в 1826 году собрать уполномоченных от обоих обществ, чтобы они избрали общих правителей. То есть это означало собрать в 1826 году объединительный съезд.

По предложению Рыльева постановили получить от Пестеля в письменном виде «Русскую правду», а от Никиты Муравьева — конституционный проект, и выбрать все хорошее и полезное как из «Русской правды», так и из конституции Никиты Муравьева, и создать третью, единую конституцию.

Видно, прав был Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, когда говорил, что надо чаще тревожить северян набегам...

После отъезда Пестеля прошло еще несколько бурных

собраний, каких давно не помнили в Северном обществе. Пушину предложили переехать в Москву, чтобы оживить деятельность московской отрасли, — звено, по мнению Пестеля, необходимое.

Николай Тургенев уезжал за границу лечиться. Никита Муравьев хотел пожить в деревне и без помех заняться работой над проектом конституции. Трубецкой принял предложение корпусного командира и переводился на службу под Киев.

В Петербурге оставались лишь Рылеев и Оболенский. И Рылеев понял: отныне все дела Северного общества ложатся на его плечи. Он перебирал имена единомышленников, и круг Северного общества казался ему узким и тесным. Надо было воспользоваться своим правом вербовать новых членов. С кого начать?

Знакомых у Рылеева в Петербурге было множество, но самыми близкими друзьями считал он братьев Бестужевых — Николая и Александра. И чем больше раздумывал он над судьбой общества, тем яснее понимал, что без их помощи ему не обойтись.

«И как это получилось, что они до сих пор не с нами?» — спрашивал он себя.

В памяти вставали казавшиеся теперь такими далекими годы, когда он, оставив военную службу, приехал в Петербург. Перезнакомившись со всеми столичными литераторами, Рылеев еще тогда сблизился с Николаем Бестужевым, морским офицером, недавно вернувшимся из заграничного плавания. На заседаниях Общества российской словесности, которое часто посещал Рылеев, к мнению Николая Бестужева уважительно прислушивались. Николай Александрович был тонким ценителем поэзии, сам переводил из Байрона, внимательно следил за современной литературой.

Шли годы, дружба их крепла, и Рылееву казалось, что

не может быть на свете человека, которого он полюбил бы больше. Но вот однажды Николай Александрович сказал Рылееву, что в Петербург приезжает его брат Александр. Рылеев и раньше слышал об Александре Бестужеве, или, как его называли в литературных кругах, Марлинском — так подписывал он некоторые свои произведения. И друзья и враги единодушно признавали талант Марлинского.

Рылеев с волнением ожидал его приезда. В тайне души он заранее ревновал Николая, боялся, что с возвращением брата они меньше станут бывать вместе.

Придя однажды на заседание Общества российской словесности, Рылеев увидел Александра Бестужева. Стройный, широкоплечий, затянутый в блестящий адъютантский мундир, он сидел в кресле, вытянув длинные ноги в узких лакированных сапогах, и на лице его было выражение спокойной вежливости. Поэты читали стихи, а когда чтение окончилось и председатель общества попросил присутствующих высказаться, Александр Бестужев встал и, сжав сильными пальцами спинку кресла, негромко заговорил. Слова были точные, меткие.

Случилось невероятное. С этого вечера Рылеев, который считал себя лучшим другом Николая Бестужева, стал оказывать явное предпочтение его брату.

Рылеев давно мечтал издавать журнал. Но на это нужны были деньги и время. А времени, как и денег, у Рылеева всегда не хватало. Познакомившись с Александром Бестужевым, Рылеев все чаще подумывал о том, что мечта его могла бы осуществиться, если бы этот человек — талантливый и деятельный — согласился стать его соиздателем.

К величайшей своей радости, Рылеев встретил с его стороны самое горячее сочувствие. Правда, Бестужев стал уговаривать Рылеева издавать альманах, а не журнал.



— Издадим одну отличную книгу в год, и прекрасно! — горячо доказывал он. — Не то представь себе, ничего достойного нет, а подписчики, уплатившие деньги, требуют очередной номер журнала...

Рылеев спорить не стал и только спросил:

— Как назовем альманах?

— «Звезда»! — решительно сказал Николай Бестужев, присутствовавший при их разговоре.

— Пламенеющая звезда... — добавил Рылеев.

— Нет, — запротестовал Николай Александрович. — Так называлась одна из масонских лож, а, как вам известно, царь запретил масонские ложи. Не разрешат и нам так назвать свой альманах. Не лучше ли — «Полярная звезда»? Ведь издаваться он будет в Петербурге, а Петербург столица северная...

— Да будет и здравствует «Полярная звезда»! — весело поддержал брата Александр.

Первая книжка «Полярной звезды» вышла в декабре 1822 года. Все лучшие поэты дали в альманахах свои стихи — Пушкин, Баратынский, Вяземский, Жуковский, Денис Давыдов, Крылов. Рылеев напечатал в альманахах свои «Думы».

И теперь, размышляя о дружбе с Николаем и Александром Бестужевыми, Рылеев все отчетливее понимал, как необходимы они в тайном обществе.

Однажды Рылеев возвращался домой с Александром Бестужевым после заседания Вольного общества российской словесности. Стояла снежная белая зима. Петербург, одетый в сверкающий льдистый наряд, был прекрасен.

Александр находился в веселом расположении духа: смеялся, шутил, перебирая впечатления минувшего вечера.

— А мы все пустяками занимаемся, — громко говорил он. — Подтверждаем знаменитым, что они знамениты, а дуракам подносим зеркало, в котором отражается их глупость. Нет высокой цели, идеи...

Звездное зимнее небо висело над городом. Друзья с наслаждением дышали полной грудью. После прокуренных комнат морозный воздух казался особенно свежим и вкусным.

Рылеев был взволнован. Давно ждал он этого разговора.

— Знаешь, — продолжал Александр, — меня удив-

ляет, что порой в Вольном обществе российской словесности высказываются действительно вольно...

— А известно ли тебе, почему оно называется вольным? — спросил Рылеев и, понизив голос, добавил: — Потому что оно находится в кругу зрения тайного политического общества.

Сказал, а у самого дух перехватило: что-то ответит его друг?

Александр от неожиданности остановился. Мимо, визжа полозьями и обдавая друзей брызгами снега, пролетел лихач.

— Да, да, — торопливо продолжал Рылеев. — Существует тайное политическое общество, которое намеревается провести ряд преобразований в России.

Бестужев продолжал стоять молча, потом вдруг схватил Рылеева за рукав шубы и потряхнул его руку.

— Через кого я могу попасть туда?!

— Через меня.

— Тебя?! — Александр Бестужев нагнулся и пристально взгляделся в узкое, посуровевшее лицо Рылеева. Оно показалось ему значительным и торжественным.

— Да, я удостоился быть принятым в тайное общество, — торжественно произнес Рылеев. — А сейчас беру на себя смелость принять тебя. Я верю тебе, Александр! Но послушай! Первое условие приема — тайна. Клянись, что никому не откроешь того, что тебе будет поверено. Второе — не любопытствовать, кто другие члены. Третье — безусловно повиноваться тому, кто принял тебя.

— Согласен! — с жаром ответил Александр. — Клянусь, что буду одним из полезнейших членов общества...

А через некоторое время Рылеев принял в члены тайного общества Николая Бестужева.

*

Царская охранка с ног сбилась: откуда такая напасть? В Петербурге, в Москве, и что того хуже, в полках стали распевать новые песни. Тягучие, беспросветные. Доносители окрестили их «непотребными». Впрочем, на такой мотив и раньше певали, только тогда слова были безобидные, а тут:

Ах, тошно мне
На родной стороне:
Все в неволе
В тяжелой доле,
Видно, век вековать.
Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ?
И людьми,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Ну мыслимое ли дело, такое распевать во всеуслышание?! А как запретишь? Слова простые, запоминаются, попробуй вытрави из памяти! Раз глотку заткнешь, другой заткнешь, но песня, как вода, растекается по матушке России.

Любимую застольную «Ах, где те острова» стали нынче таким манером петь:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят?
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят?
Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо!
Как курносый злодей

Воцарился на ней.
Горе!
Но господь русский бог
Бедным людям помог
Вскоре...

Невдомек было царской охране, что авторы этих песен издатели «Полярной звезды» Кондратий Рылеев и Александр Бестужев.

— Песня не прокламация, до каждого сердца дойдет! — говорили друзья.

Они написали несколько песен и поначалу хотели разбрасывать листки в казармах. Но потом решили не рисковать и передавать устно. Раздумывали над тем, как переслать песни на Юг, но, посоветовавшись, решили ждать личной okazji. Летом, когда приехал в Петербург Матвей Иванович Муравьев-Апостол, передали ему.

— Как идут дела на Юге? — спросил его Рылеев.

— Насколько я знаю, дела идут налаженно и сплоченно. Сергей души не чает в Бестужево-Рюмине, пророчит ему блестящую будущность. Он и вправду последнее время весьма преуспел в делах общества, но горяч очень и воображение воспламененное... Да, будущность наша меня весьма и весьма тревожит...



ГЛАВА ПЯТАЯ НА ЮГЕ

Лето 1825 года Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Михаил Павлович Бестужев-Рюмин жили, как всегда, в Василькове, уездном запустелом городке-слободке, разбросанном по долинам и холмам. Серые деревянные домики и белые мазанки теснились рядами вдоль узких улиц, спускавшихся к обрыву, где текла речка Стugna, обмелевшая, заросшая тиной и камышом. Темная зелень вишневых садов, а среди них белые хатки — хатка над хаткой, садик над садиком, разгороженные плетнями, увитыми тыквами.

В центре города — базарная площадь. Перед единственным каменным домом, где размещались все присутственные места, привал чумаков. Круторогие волы, лежа в пыли, жевали сено, а чумаки тянули жалобные песни. Зной, лень, тишина. Даже собаки не лаяли и куры не бродили, спали, зарывшись в мягкую горячую пыль. Везде грязь, обрывки соломы, навоз...

И люди в Василькове жили так же сонно и однообразно. Мужчины пили водку, настоящую на вишневых косточках, барышни читали французские романы, приходившие сюда с запозданием на год-другой. Самым большим развлечением в городе бывали вечера, которые иногда устраивал у себя полковник Гебель. Играли в бостон, девушки танцевали с офицерами под клавикорды.

Время проходило в учениях, караулах, разводах. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин жили на Соборной площади в деревянном ветхом домике с облупившимися белыми колоннами. Вокруг дома сад. В саду копанка, покрытая зеленой ряской. От копанки тянуло болотцем, тиной, прохладой. За садом бахча и пасека, оттуда по вечерам приходили запахи укропа и меда, мяты и арбузов.

Друзья сидели на балконе, и Михаил Павлович, наливая себе чай из красно-медного самовара, говорил громко и возбужденно:

— Помнишь, Сережа, у Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала»?

Сергей Иванович сидел откинувшись в легкой плетеной качалке, ласково и внимательно глядя на Михаила Павловича.

— Так вот, — продолжал он. — С этого у них все и началось. Братья Борисовы жили с отцом на хуторе и видели, как паны мучают бедных людей. А потом попали они на военную службу и при них забили насмерть солдата. Тогда поклялись они, что такого в России больше не будет. Ну и книги, конечно... Жизнеописания великих мужей Плутарха, греки, римляне...

Еще в корпусе решили они создать тайную секту. Цель ее — уединенная жизнь, изучение природы. Девизом сделали две руки над пылающим жертвенником. Секту назвали Обществом первого согласия. А когда Борисо-

вых произвели в офицеры, они основали в Одессе масонскую ложу «Друзья природы». Вот из этих-то двух обществ и родились «Славяне»...

— Какова их цель? — мерно покачиваясь в качалке, спросил Муравьев-Апостол.

— Соединение славянских племен в единую республику. Вот послушай их правила. Я наизусть запомнил...

Михаил Павлович резко отодвинул от себя стакан, и чай расплескался по домотканой полотняной скатерти.

— «Желаешь иметь сие — с братьями твоими соединишь, от коих невежество предков отдалило тебя».

«Будешь человеком, когда познаешь в другом человека, и гордость тиранов падет перед тобой на колени».

«Ни на кого не надейся, кроме твоих друзей и твоего оружия: друзья тебе помогут, оружие тебя защитит».

«Свобода покупается не слезами, не золотом, а кровью».

Сергей Иванович слушал молча. Потом так же молча встал — пустая качалка продолжала качаться, — прошелся по балкону и, подойдя к Михаилу Павловичу, бережно провел рукой по его мягким рыжеватым волосам:

— Горяч ты, друг мой... — негромко и задумчиво сказал он. — Не увлекаешься ли?

— Уверяю тебя, мы найдем в этих людях то, что так ищет Пестель! — нетерпеливо воскликнул Бестужев-Рюмин. — Они готовы на всякую жертву для блага отечества. Бедные армейские прапорщики, они постановили жертвовать десятую долю жалования на выкуп крепостных людей и на учреждение сельских школ. Борисовы сами с хлеба на квас перебиваются, а положенные деньги вносят в кассу общества... Вот посмотри, — он достал из кармана тоненькую синюю тетрадку и протянул ее Сергею Муравьеву-Апостолу. — Прочти! Это клятва, которую они дают при вступлении в общество.

Муравьев взял из его рук тетрадку и, раскрыв, стал читать:

«С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячу смертей, тысячу препятствий, посвящу последний вздох свободе. Клянусь до последней капли крови вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Если же нарушу клятву, то острие меча сего, над коим клянусь, да обратится в сердце мое...»

— Они за каждую букву этой бедной тетрадки готовы пожертвовать жизнью! — возбужденно говорил Бестужев-Рюмин, наблюдая за выражением лица Сергея Ивановича.

— Ну что ж, — медлительно проговорил Муравьев-Апостол, но за этой медлительностью Михаил Павлович услышал скрытое волнение. — Ты прав, такие люди нам необходимы. Так когда и где мы сможем встретиться?

— На днях к нам зайдут руководители общества Соединенных славян. Потолкуем, обсудим главные вопросы. А потом в Лещинском лагере встретимся с остальными членами и решим вопрос о соединении обществ, нашего, Южного, и Соединенных славян.

*

Недаром говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Родной брат полкового командира, под началом которого служил Шервуд, был отдан под суд. И пришлось Ивану Васильевичу ехать по этому делу в город Ахтырку, к графу Булгари.

В Ахтырку приехал он на рассвете. Отыскал квартиру, где жил Булгари. Состояла она из двух небольших комнат: первая что-то вроде прихожей, полутемная, заваленная чемоданами, корзинами и прочим хламом; вторая, что служила спальней хозяину, побольше и по-

светлее. Дверь в нее была приоткрыта. Шервуд заглянул туда, но тут появился слуга, сказал, что граф еще почи-
вает и потому придется обождать.

Шервуд уселся в полутемной прихожей, закурил трубку и попросил слугу принести стакан горячего кофе. В открытую дверь было видно, что под окном на кровати кто-то спит, закрыв лицо простыней. Шервуд решил, что, верно, это и есть Булгари. Но вот лежавший заворочался, сдернул с лица простыню, потянулся и сел на постели. К удивлению своему, Шервуд увидел незнакомого человека с широким лицом и густой гривой светлых волос. Позевывая и потягиваясь, незнакомец громко спросил, обращаясь к кому-то:

— Спишь, граф?..

— Да нет, все думаю о нашем вчерашнем разговоре... Так что же, по твоему мнению, было бы самое лучшее для России?

— Конечно, конституция!

Шервуд затаил дыхание: «Вот оно! Неужели начинается?..»

Громкий хохот графа прервал его мысли.

— Конституция для медведей! — сквозь смех с трудом выговорил он.

— Нет, граф, нам нужна конституция, примененная к нашим потребностям, к нашим обычаям.

— Хотел бы я узнать конституцию для русского народа! — продолжая хохотать, сказал Булгари.

— Ты не понимаешь меня, — явно начиная сердиться, продолжал незнакомец, и Шервуду было видно, как побурело его лицо. — Послушай, я расскажу тебе, какая конституция была бы хороша для России...

Шервуд, конечно, не знал, что незнакомец почти дословно излагает главу за главой «Русскую правду» Пестеля. Но он был достаточно хитер, чтобы понимать: сочи-

нить конституцию вот этак, сразу — дело невозможное. От волнения он даже курить перестал, боясь пропустить хоть слово.

— Да ты с ума сошел! — пренебрежительно отмахнулся граф. — Или ты забыл, как у нас велика царская династия? Ну куда их девать?

— Перерезать! — неизвестный вскочил и засучил рукава.

— Э, брат, да ты совсем заврался! Их за границей видимо-невидимо. И вообще все это вздор! Поговорим-ка о чемнибудь повеселее...

Скрипнула дверь — слуга принес кофе, — и Булгари, выглянув в открытую дверь, крикнул:

— А, Шервуд приехал! Иди сюда...

— Вот допы кофе и приду, — отозвался Шервуд, мелкими быстрыми глотками отхлебывая кофе. Он чувствовал себя так, словно только что нашел клад. На ладони уже искрится и звенит золото, а человек все еще не верит своему счастью и пробует на зуб монетку: не фальшивая ли?

Успокоившись немного, Шервуд вошел в комнату.

Граф Булгари дружески пожал ему руку и обратился к незнакомцу:

— Рекомендую, господин Шервуд. А это господин Вадковский, — сказал он Ивану Васильевичу.

— Шервуд? — удивился Вадковский. — Иностранец, верно?

— Да, я англичанин.

— Ты до сих пор не произведен в офицеры? — удивился граф Булгари, взглянув на Шервуда.

— Это не вдруг делается, — с достоинством ответил Шервуд. — У нас в поселении третий год обо мне собирают справки. А начали, когда я прослужил положенный четырехлетний срок.

— Везде черт знает что делается! — возмущенно воскликнул Вадковский. — Вы служите в военном поселении? Каково у вас там?

Шервуд понимал: надо во что бы то ни стало войти к доверие к Вадковскому, а это значило предстать перед ним недовольным, вольнолюбцем. И он сказал:

— Солдатам дают мало времени для полевых работ. Замучили постройками. От этого они терпят большие бедствия:

— Значит, поселяне недовольны?

— Очень! Офицерам, конечно, живется лучше. Но вообще все недовольны. Вы же знаете, Аракчеев шутить не любит!

Шервуд видел, что Вадковский не спускает с него глаз. Кажется, он произвел нужное впечатление! И верно, едва он вышел в соседнюю комнату за табаком, как услышал голос Вадковского:

— А Шервуд, должно быть, умный человек?

— Весьма умный, — задумчиво ответил Булгари. — Но бывают моменты, когда я его боюсь.

Слуга сервировал завтрак на маленьком, увитом густой зеленью балкончике. Воздух был еще по-утреннему прохладный и бодрящий. Во время завтрака завязался оживленный разговор. Время летело незаметно, только солнце поднималось все выше, и лучи его становились все горячее.

Булгари поднялся.

— Прошу прощенья, господа, я зван нынче на обед, и мне придется покинуть вас. Отобедайте без меня...

Шервуд и Вадковский остались вдвоем. От выпитого вина разговор делался все возбужденнее и откровеннее.

— Пройдемте в комнату, — предложил Вадковский. — Там прохладнее.

Шервуд молча и послушно направился вслед за ним.

Войдя в комнату, Вадковский вдруг притих, смолк, и Шервуд заметил, как изменилось и побледнело его лицо.

— Господин Шервуд, — сказал он многозначительно. — Я с вами друг, будьте и вы мне другом!

У Шервуда радостно дрогнуло сердце, но он сдержал себя и, стараясь казаться безразличным, проговорил:

— Я счастлив с вами познакомиться.

— Нет-нет! — недовольно воскликнул Вадковский. — Я хочу, чтобы вы были мне другом! Я вверю вам важную тайну....

Шервуд отпрянул от него, сделав предостерегающий жест рукой.

— О, я весьма тронут вашим доверием, — сказал он. — Но, что касается тайн, прошу вас не спешить. Я не люблю ничего тайного...

Вадковский резко повернулся и отошел к окну. Несколько мгновений он стоял спиной к Шервуду, нервно барабанил пальцами по подоконнику, потом так же резко повернулся к нему лицом и крикнул:

— Иначе не может быть! Наше общество без вас быть не должно...

Все ликовало в душе Шервуда. Но он заговорил притворно испуганным голосом:

— Я прошу вас ничего не говорить! Здесь не время и не место. Если вы так настаиваете, я даю слово, что приеду туда, где стоит ваш полк. Честное слово, приеду...

— Жду вас в Курске.

— А вы все о том же?! — неожиданно раздался с порога голос графа Булгари. Он осуждающе взглянул на Вадковского: не слишком ли откровенен этот горячий молодой человек? И обратился к Шервуду: — А нам пора и о деле поговорить, за коим ты ко мне пожаловал...

Лещинский лагерь раскинулся в пятнадцати верстах от большой почтовой дороги, что ведет из Житомира в Бердичев. Квартыры тесные, хаты битком набиты, и многие офицеры предпочитали жить в палатках или балаганах — легких лагерных строениях.

Собрание общества Славян и Южного общества назначили в деревне Млинищах на квартире артиллерийского подпоручика Андреевича. Жил он на самом краю села, в сосновом бору. За домом обрыв, перед забором заброшенное кладбище. Хозяин, дьячок, перебрался жить в баньку, так что сборищу помешать не мог. Денщика своего Андреевич в тот вечер усла с поручением в Житомир — ни к чему посторонний глаз.

Собрание назначили в семь часов вечера. Приезжавшие оставляли лошадей на деревне и поодиночке, чтобы не внушать подозрений, бором шли к дому.

Уже все были в сборе, а Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин запаздывали.

Иван Горбачевский — один из руководителей общества Славян — негромко переговаривался с Борисовым:

— Хороший этот Бестужев-Рюмин, — улыбнувшись, сказал Горбачевский. — Недавно присутствовал я на уроке, который давал он солдату Цибуленко. Грамоте обучал...

— Дело нужное, — негромко сказал Борисов.

— Конечно... Долго он бился, пока Цибуленко корявыми пальцами стал выводить большие кривые буквы. Как вы думаете, что он писал?

— Не знаю, — улыбнулся Борисов.

— «Брут. Кассий. Лафайет. Конституция». Я говорю: «Михаил Павлович, не поймет он ничего!» А тот упрямо свое твердит: «Поймет, обязательно поймет! Только тер-



пение нужно...» И такая в словах убежденность, что я подумал: может, правда когда-нибудь поймет?

— Убеждение — великая сила, — задумчиво сказал Борисов, поднимая на Горбачевского большие голубые, немного навывкате глаза.

— Идут! Идут! — раздался возглас.

В хату вошел Сергей Муравьев-Апостол, подтянутый, с высоко поднятой головой. Чуть полноватый, он двигался легко и бесшумно.

Следом за ним быстрым мальчишеским шагом вбежал Бестужев-Рюмин.

— Прошу прощения, господа — сказал Сергей Муравьев-Апостол мягким медлительным голосом. — Неожиданно вызвали в штаб, потому задержались.

Андреевич закрыл окна, и все сели за стол, стоявший посреди комнаты.

Тускло мерцали сальные свечи, и красные отблески ложились на белые мазанные стены.

Председатель собрания очень коротко сказал, что цель нынешней встречи — принять решение о слиянии двух обществ — Южного и Соединенных славян, после чего предоставил слово Бестужеву-Рюмину.

Михаил Павлович заговорил сбивчиво, он то краснел, то бледнел, и от этого яснее выступали рыженькие веснушки на его худеньком остроносом лице. Но вдруг словно что-то переломилось в нем, он весь преобразился, маленькие коричневые глаза стали огромными, он взмахнул рукой, и не было в комнате человека, который в этот миг не бросился бы за ним...

«Восторг пигмея делает гигантом!» — вспомнил Сергей Иванович, глядя на Бестужева-Рюмина.

— Силы Южного общества огромны! — говорил он звонко и отчетливо. — Москва и Петербург готовы к восстанию. Стоит лишь схватить минуту — и все готово восстать! Управы общества находятся в Тульчине, Василькове, Каменке, Киеве, Вильне, Варшаве, Москве, Петербурге и других городах империи! Польское общество находится в сношениях с прочими политическими обществами Европы...

Сергей Иванович понимал, что в словах Бестужева-Рюмина много преувеличений, но он видел, как загорались лица слушателей, и не решился остановить его.

Михаил Павлович закончил свою речь.

— Слово Горбачевскому, — сказал председатель.

Горбачевский поднялся, коренастый, широкий и, выставив вперед крепкую красную ладонь, сказал:

— Мы, Соединенные славяне, дав клятву посвятить свою жизнь освобождению славянских племен, не можем нарушить сей клятвы. Подчинив себя Южному обществу, будем ли мы в силах исполнить ее?

— Преобразование России откроет путь к вольности всем славянским народам! — выкрикнул Бестужев-Рюмин. — Россия, освобожденная от тиранства, освободит своих братьев, учредит республики и соединит их федеральным союзом! У нас одна цель, и наши силы принадлежат вам. Единственное условие — подчиняться во всем Державной думе Южного общества.

— Какая дума?! Из кого состоит? — раздались возгласы.

— Этого мы не можем вам открыть по правилам общества, — возразил Бестужев-Рюмин. — Но вот не угодно ли взглянуть?

Сергей Иванович внимательно и гордо наблюдал за Мишелем. Это была гордость учителя за своего талантливого ученика. Давно ли Бестужев-Рюмин был лишь послушным исполнителем поручений Муравьева и Пестеля? А теперь ему можно спокойно доверить действовать самостоятельно...

Бестужев-Рюмин взял лист бумаги, карандаш и начертил круг. Внутри круга написал «Державная дума», провел от него линии, а на концах линий нарисовал кружочки.

— Большой круг — Державная дума, — говорил он. — Линии — посредники. Малые кружки — округа, которые сносятся с думой через посредников.

Все столпились вокруг него, слушая жадно и внимательно.

— Господа, — раздался голос председателя. — Время позднее, а мы не решили то, ради чего собрались. Принято ли соединение обществ? Голосовать будем?

— Не надо! Принято!

— Господин секретарь, — обратился председатель к тихому чиновнику в потертом зеленом фраке. — Запишите в протокол: общества соединяются.

Слово опять дали Бестужеву-Рюмину. Он заговорил тихо и торжественно:

— Господа! Мне поручено сообщить вам наш план. В следующем, в 1826 году на высочайшем смотре во время лагерного сбора Третьего корпуса члены общества, переодетые в солдатские мундиры, ночью при смене караула вторгшись в спальню государя, лишают его жизни. Одновременно северяне начинают восстание в Петербурге узлом царской фамилии в чужие края и объявляют временное правление двумя манифестами — к войскам и к народу. Пестель, директор Тульчинской управы, возмутит вторую армию, овладевает Киевом и устраивает первый лагерь. Я начальствую Третьим корпусом, иду на Москву. Там лагерь второй. Сергей Иванович Муравьев-Апостол едет в Петербург. Общество вручает ему гвардию — лагерь третий. Петербург, Москва, Киев — три укрепленных лагеря, и вся Россия в наших руках!

Мы навеки утвердим вольность и счастье России! Слава избавителям в позднейшем потомстве, вечная благодарность Отечеству!..

Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия, и Пензенский полк, и Черниговский — хоть сейчас в поход! Да и командиры полков на все согласны... Вождь Риго прошел Испанию и восстановил вольность в отечестве с помощью трехсот человек, а мы чтоб с целыми полками ничего не сделали! Да начни мы хоть завтра...

Словно ураган пролетел по собранию. Возбужденные

люди вскакивали с мест. То там, то тут слышались возгласы:

— Умрем на штыках!

— На Житомир!

— На Москву!

— На Киев!

— На Петербург!

— Завтра!

— Нет, господа,— раздался спокойный и глуховатый голос Сергея Муравьева-Апостола.— Завтра мы не начнем.— Он покачал головой. В избе стало неожиданно тихо.— Начать завтра,— размеренно продолжал Муравьев-Апостол,— это значит погубить все дело. Ежели слова мои обидны, простите меня. Идучи на смерть, надо сохранять достоинство. Но вот что мы можем сделать завтра — дать клятву явиться с оружием в руках при первом же знаке командира и не щадя жизни биться за свободу. Согласны?

— Согласны! — прозвучал чей-то решительный голос.

Смолкли восторженные крики и возбужденные возгласы. Слова превращались в дело, а дело требовало спокойствия.

На улице была темная низкая ночь. По небу ползли тяжелые тучи. Мягким ковром стлалась под ногами опавшая хвоя. На одном конце длинной сосновой просеки белели хатки Млиниц, на другом — внизу, под обрывом, раскинулись лагерные палатки.

Спали луга и рощи, высились безмолвные зеленые холмы. Как тихо! Только ровное похрапывание коней нарушало ночную тишь.

Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин ехали молча. Сергей Иванович сбоку взглянул на Мишеля. Его бледное лицо было усталым и погашенным.

«Оратор, трибун...— с гордостью подумал Муравьев-Апостол, глядя на него.— Как говорил сегодня! Ежели жив останется, суждена ему большая дорога...»

И от этого «ежели» горестно сжалось сердце. Ведь это он привел юношу на путь, который может окончиться гибелью. Имел ли он на это право? И, подъехав вплотную, он негромко спросил:

— Устал, Миша?

Бестужев-Рюмин поднял на него счастливые влажные глаза, совсем по-детски потерся щекой о плечо Муравьева-Апостола и, словно отвечая на его мысли, прошептал:

— Спасибо тебе! За все спасибо...

— Ну что ты, что ты...— смущенно и беспомощно проговорил Сергей Иванович и, чтобы перевести разговор, добавил: — Минувшей ночью мне что-то грустно стало, я стихи написал, послушай! — И он прочел по-французски: — Я пройду по земле, всегда одинокий и задумчивый, и никто меня не узнает. Только в конце моей жизни блеснет над нею свет великий, и тогда люди увидят, что они потеряли...

*

Боялись слежки и потому на следующий день решили собраться в самый безопасный час — перед рассветом. Где-то далеко перекликались петухи, лениво перебрехивались собаки. Изба Андреевича преобразилась. Чисто вымыли пол, выскоблили скамьи, до блеска протерли окна. Стол покрыли белоснежной скатертью. На столе торжественно лежало евангелие в переплете из малинового бархата, а рядом обнаженная шпага. Славяне, вступая в общество, клялись на шпаге и на евангелии.

Собравшиеся бродили по комнате, говорили вполго-

лоса. Настроение таинственной торжественности охватило всех.

Бестужев-Рюмин, сидя в сторонке, что-то быстро писал на листках своим мелким четким почерком. Он хмурился, покусывая оттопыренную губу, ерошил волосы.

«Волнуется...» — взглянув на него, подумал Муравьев-Апостол и вдруг сказал громко:

— Пора начинать, друзья!

К столу подошел, вернее, подбежал Бестужев-Рюмин. Яркая краска заливала его лицо. Он рванул ворот мундира, словно ему было душно, заговорил быстро, сбивчиво. Но мгновение — голос его окреп, слова набрали силу. И уже опять никто ничего не видел, кроме его вдохновенного лица с горящими зеленовато-коричневыми глазами, никто ничего не слышал, кроме звящего, подчиняющего себе голоса:

— Век славы военной с Наполеоном кончился! Теперь настало время освобождения народов. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне Отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе!

Бестужев-Рюмин перевел дыхание и услышал, как легкий вздох прошел по избе. Он понял: сейчас в его власти делать с этими людьми все, что он хочет.

— Взгляните на народ, как он угнетен! — воскликнул он, и у слушателей мурашки прошли по спине при звуке звящего юношеского голоса. — Торговля упала, промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно

было обществу нашему распространиться и прийти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют. Многие из тех, коих правительство считает вернейшими оплотами самовластья — сего источника всех зол, — уже давно ревностно нам содействуют. Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество, ибо все люди, благородно мыслящие, ненавистны правительству — они подозреваемы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу вернейшее для них убежище. Скоро оно воспримет свои действия и освободит Россию и, может быть, целую Европу!

Порывы всех народов удерживает русская армия, коль скоро она провозгласит свободу — все народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века!

И вдруг, отшвырнув лист бумаги, он взмахнул рукой и воскликнул:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

«Отчизне, родине, матери...» — пронеслось у него в голове.

«Мама, мама! Она бы поняла, все поняла... — думал он, дрожащими руками расстегивая ворот и доставая образок, которым благословила его Екатерина Васильевна. На образе было лицо матери, потемневшее, скорбное, такое, как у всех матерей на свете, когда они тревожатся за судьбы своих детей. Он глядел на это лицо, и чувство вины поднималось в его сердце. — Мама, ты больна, ты звала меня, а я, занятый делами общества, не смог приехать. Мама, прости... — мысленно

шептал он.— Я не виноват, я ради родины нашей...
Не виноват я, клянусь...»

И вдруг, сам того не замечая, повторил громко:

— Клянусь!

Опомнившись, он продолжал:

— Клянусь умереть за свободу! — он прильнул губами к образку.— Клянусь тебе, Россия, мать...— бормотал он, стараясь изо всех сил не заплакать, и торопливо передал образок Сергею Муравьеву-Апостолу.

Образок пошел по кругу.

— Клянусь!

— Клянусь! — торжественно повторяли собравшиеся.

— Да здравствует конституция!

— Да здравствует республика!

— Умрем за свободу!

«Но почему они все время о смерти? — вдруг подумал Бестужев-Рюмин.— Мы добра людям хотим, почему же должны умереть? Я не хочу умирать! Я жизнь люблю, все люблю...» — сбивчиво думал он и крикнул:

— Зачем умирать?! Мы молоды, наградой нашей будет не смерть, а слава!

— Сражаться до последней капли крови — вот наша награда! — громко и спокойно проговорил Борисов.

*

Нет, не тот человек был Джон Шервуд, чтобы упустить счастье, когда оно шло к нему в руки. Не имея богатой родни и знатных покровителей, он хорошо усвоил русскую поговорку о том, что человек — кузнец своего счастья. И еще он запомнил: ковать железо надо, пока оно горячо. И он стал ковать свое счастье.

Летом 1825 года император Александр I с удивлением читал письмо некоего унтер-офицера Третьего

украинского полка Ивана Шервуда, в котором тот всеподданейше умолял императора под любым предлогом доставить его в Петербург, дабы имеет необходимость сообщить о важном деле, касающемся лично государя.

7 июля поручик фельдъегерского корпуса доставил Шервуда к графу Аракчееву в село Грузино Новгородской губернии. Село это, раскинувшееся на берегу реки Волхов, было подарено графу Аракчееву императором Павлом.

Шервуд знал, что Грузино — центр военных поселений. По службе ему приходилось бывать в подобных поселениях, но то, что он увидел в Грузино, поразило его.

Поселение тянулось на многие версты. Такая правильность и единообразие во всем, что невозможно было отличить одно село от другого.

Одинаковые розовые домики стояли ровно, как солдаты в строю. Улицы казались бесконечными. По всему пути аллеи тощих берез, одинаково подстриженные. Крылечки все красные, мостики зеленые. Чисто, гладко, словно лаком крыто.

Все должно было быть одинаковым в военных аракечевских поселениях. Шервуд вспомнил правила, которые ему приходилось изучать. Тончайшие правила на все: какими должны быть метелки, коими улицы подметаются. О стеклах оконных правила. И о свиньях правила. Работы земледельческие тоже по правилам: мужики по ротам расписаны, острижены, обриты, одеты в мундиры. В мундирах под звук барабана выходят пахать. Под команду капрала идут за сохой, вытянувшись, как будто маршируют. Маршируют и на гумнах, где каждый день происходят учения.

Детей с шестилетнего возраста одевали в мундиры. Вот и сейчас, заведя коляску с фельдъегерем, малень-

кие солдатики вытягивались во фронт и тоненькими голосами выкрикивали:

— Здравия желаем!

Шервуд заглядывал в окна, мелькавшие мимо, и там видел такое же единообразие — одинаково расположенные комнаты, одинаковую мебель, выкрашенную в дикий кирпичный цвет.

Жизнь в домах тоже расписана: в какие часы открывать и закрывать форточки, когда мести комнаты, когда обмывать младенцев.

Шервуд вспомнил передававшийся из уст в уста рассказ, как однажды, когда государь император посетил Грузино и пожелал отобедать у одного из военных поселенцев, то щи подали такие жирные, а кашу такую румяную, что государь со свитой нахвалиться не мог.

— Нектар и амброзия! — слышались восклицания.

А потом подали жареного поросенка.

Один из флигель-адъютантов, догадавшись, что тут дело нечисто, отрезал поросенку ухо в первой избе, в пятой на то же место приставил — пока государь из дома в дом переходил, жаркое передавали по задворкам.

Мужики аллейки мели, а в поле рожь осыпалась, сено гнило. Кабаки позакрывали, а мужики с горя все равно мертвецки пьют. Кто не пьет, в уме мешается. Недаром ходит по России поговорка: «Спаси, господи, крещеный народ от Аракчеева...»

У Шервуда поджилки тряслись при мысли, что через час-другой ему предстоит предстать пред грозные очи верного государева слуги, который вот уже сколько лет вершит в России все дела. Но Шервуд решил твердо стоять на своем и ничего Аракчееву не открывать.



Аракчеев, «надменный временщик и подлый и коварный», как навсегда заклеил его в своей оде Рылеев, в этот послеобеденный час никак не мог заснуть, ворочаясь на жестком диване. Нервы распались, и, чтобы привести себя в душевное равновесие, он считал в уме, сколько метелок нужно для грузинского хозяйства. «В кухню господскую, — прикидывал он, — по две метелки в неделю, итого сто четыре штуки в год. В службы людские, не меньше пяти в неделю, а в год — двести шестьдесят... В оранжереи, в конюшни, во флигеля, на год одна тысяча восемьсот девяносто, на пять лет — девять тысяч четыреста пятьдесят, на двадцать пять лет...»

Цифры складывались ровные, послушные. Что может быть успокоительнее послушания и точности?

Аракчееву так понравилось это занятие, что он придумал задачку посложнее. Сколько щепенки нужно для шоссе от Грузина до Чудова, если куча в вышину три аршина тринадцать вершков, а по откосу четыре аршина девять вершков? Но даже его натренированный ум справиться с этой задачей не мог. Аракчеев взял обгрызанный карандаш, клочок бумаги и хотел было приступить к успокоительным вычислениям, как доложили о прибытии Шервуда.

Шервуд вошел в кабинет взволнованный, напряженный, как был с дороги, в пропыленном мундире. Аракчеев поглядел на него строго. Всех людей от взгляда Аракчеева дрожь пробирала, а Шервуд встретил его спокойно. В холодных светлых глазах англичанина ничего не отразилось.

Аракчеев долго расспрашивал Шервуда, откуда он родом, кто отец и мать, давно ли в России.

— Знаешь ли языки, кроме русского?

— Французский, немецкий и английский, — также

спокойно, не повышая голоса и не меняя интонации, ответил Шервуд.

— О, братец! — воскликнул Аракчеев. — Да ты учнее меня... Тебе положено бы знать: когда унтер-офицер хочет писать государю императору, он должен передать письмо взводному командиру, взводный — эскадронному, тот — полковому, полковой — бригадному, бригадный — дивизионному, дивизионный — корпусному, корпусной — мне! А я бы представил государю императору.

— Смею ли спросить ваше сиятельство?

— Говори!

— А если бы я не хотел, чтобы ни взводный, ни полковой, ни корпусной, ни даже ваше сиятельство об этом знали, как бы вы приказали мне поступить в данном случае? — нагло спросил Шервуд, понимая, что сейчас решается его судьба.

Аракчеев даже поперхнулся. Кадык на его шее задвигался, он сделал несколько глотательных движений и вдруг сказал неожиданно:

— Ну, братец, в таком случае ты очень умно поступил! Но я все-таки твой начальник, и ты, верно, знаешь, как предан я государю. А потому скаже мне: в чем дело?

Но Шервуд твердо стоял на своем: кроме как государю императору объяснить дело не может, потому что касается оно лично царя.

— Ну, в таком случае я тебя и спрашивать не буду, поезжай с богом! — мягко проговорил Аракчеев.

И эта мягкость показала Шервуду страшнее гнева. Он не выдержал и крикнул:

— Ваше сиятельство! Дело в заговоре против императора!

В тот же вечер фельдъегерь мчал Шервуда в Петербург.

На другой день, в пять часов пополудни Шервуда привезли во дворец на Каменный остров к императору Александру I.

Государь изволили кушать, и Шервуду пришлось ждать. Наконец Александр вошел в комнату, где ожидал Шервуд, и жестом приказал ему следовать за собой. Они вошли в кабинет.

— Ты мне писал? Что ты хочешь сказать? — спросил царь негромким потухшим голосом. Глаза у него были светлые, выцветшие, тоже потухшие.

— Ваше величество! Я полагаю, что против спокойствия России и вашего величества существует заговор...

Шервуд с пунктуальной точностью передал свой разговор с Вадковским, рассказал о подозрениях, что вызывали в его верноподданническом сердце сборища в Каменке.

Царь слушал молча, не говоря ни слова, потом спросил устало и словно нехотя, вяло пошевелив белыми пухлыми пальцами:

— Что же эти... хотят? Разве им так худо?

— С жиру, ваше величество, собаки бесятся...

Александр брезгливо поморщился.

— Как ты думаешь открыть заговор?

Шервуд снова начал говорить подробно и долго.

Царь слушал, положив голову на белую пухлую руку с толстым обручальным кольцом.

— Не лучше ли будет для открытия заговора, если я прикажу произвести тебя в офицеры? — перебил он Шервуда.

От восторга у Шервуда все запело внутри. Воображение уже рисовало ему славу и почести. Но он ответил спокойно:

— Ни в коем случае, мой государь! Это может все дело испортить. А когда богу будет угодно помочь мне открыть зло, тогда можете произвести меня во что вам будет угодно!

Царь посмотрел на него с любопытством. Потом милостиво протянул Шервуду свою выхоленную мягкую руку. Шервуд почтительно припал к ней губами.

— А теперь, Шервуд, поезжай! Напиши мне скорее, как думаешь приступить к делу, и жди от меня приказаний!



ГЛАВА ШЕСТАЯ

РЫЛЕЕВ И КАХОВСКИЙ

Если бы Рылеева спросили, кто впервые привел к нему Петра Григорьевича Каховского, он затруднился бы ответить. На его русских завтраках бывало так много людей, что порою Рылеев сам не мог поймать нить завязавшегося знакомства.

Русские завтраки Рылеева славились на весь Петербург.

— Мы должны избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству. Не римский Брут, а Вадим Новгородский да будет нам образцом гражданской доблести, — любил повторять Рылеев.

В те дни, когда у него собирались друзья и знакомые, Петр стелил на стол простую камчатную скатерть, подавал деревянные ложки, солонки с петушиными гре-

бешками. Кушанья и напитки тоже были простые, исконно русские — ржаной хлеб, квашеная капуста, кулебяка, квас, водка.

«Человек без имени и состояния», — пренебрежительно говорили о Каховском. Но этот костлявый, сутуловатый молодой человек сразу привлек внимание Рылеева. Он с интересом разглядывал своего нового знакомого. Лицо землистого цвета, волосы небрежно подстрижены, одежда потертая. Ходили по Петербургу слухи, что он безнадежно влюблен в Софью Михайловну Салтыкову, что девушка поначалу была к нему благосклонна, но родители ее наотрез отказали нищему и безродному жениху. Каховский был мрачен, держался особняком. Рылеев подошел к нему, ласково заговорил, спросил, давно ли в Петербурге. К удивлению, Каховский отвечал охотно, словно был благодарен за оказанное внимание.

— В Петербурге недавно! Служил в армии, вышел в отставку. С командиром поссорился. За солдата заступился, а это, сами знаете, у нас не положено...

Рылеев искренне посочувствовал, и сочувствие его так тронуло Петра Григорьевича, что он неожиданно для самого себя разоткровенничался и рассказал Рылееву о своей незадачливой любви. Видно, накопела в душе боль и достаточно было доброго слова, чтобы выплеснулась наружу.

Через несколько дней они уже перешли на «ты».

— Знаешь, Рылеев, — говорил Каховский, — как радостно мне твое участие! После всех бед, что разом обрушились на меня, я голову потерял... И вдруг ты... Я собираюсь в Грецию, сражаться за свободу и независимость греческого народа. Мой мятежный дух им сродни. Хоть бы скорее уехать... Да вот сижу без копейки!

— Ну полно, полно, — мягко сказал Рылеев. — О деньгах не тревожься. Сколько тебе надо? Я дам...

Яркая краска залила худое, измученное лицо Каховского, глаза повлажнели.

— Я видел к себе в жизни так мало внимания, — виновато и растерянно сказал он. — А ты пожалел меня, Рылеев, и тем победил. Я твой друг навсегда!

Рылеев смутился и, чтобы перевести разговор, спросил:

— Зачем тебе ехать в Грецию, когда в России есть дела более высокие?

Каховский с недоумением взглянул на него.

— Или ты не испытал на себе произвола властей? — продолжал Рылеев. — Или не считаешь, что назревают в России события великие? И не наша ли обязанность помочь родине сбросить старые одежды?

— Я проехал всю Россию, я знаю свое отечество, — взволнованно ответил Каховский. — Повсюду слышал ропот на правительство. Но куда прибегнуть, где искать защиты тем, кто не имеет никаких способов защитить себя, если законы не ограждают слабых от произвола сильного? Я знаю, нужно свергнуть правительство, истребить царей! Я давно думаю об этом. Но для свержения правительства нужны люди. Где взять людей?

— Они есть, — спокойно ответил Рылеев. — Существует общество. Сегодня я больше ничего не вправе сказать тебе...

*

Ночью, вернувшись в свою нищенскую комнатенку, Каховский до утра не сомкнул глаз, ворочаясь на жесткой постели.

Неужели найдена цель? Неужели судьба свела его с людьми, что станут ему друзьями, братьями? Братьями в едином и великом деле. Выходит, не напрасна его жизнь, не зря терпел он страдания и муки?

Он вспоминал бедное детство в родительском доме. Отец и мать сызмальства приучали детей к мысли, что им самим придется пробивать путь в жизни — ни капитала, ни высоких связей у Каховских не было.

Когда Петр подрос немного, его отдали в Московский университетский пансион. Всегда задумчивый, погруженный в книги, он ни с кем не дружил. Товарищи дразнили его мечтателем, дергали за курточку, пачкали мелом, кидали в него учебниками. Он ничего не отвечал, только прикрывался рукой, чтобы не прерывать чтения. Любимыми его были книги о героях древности. История Брута, решившегося ради свободы родины убить Юлия Цезаря и восстановить республиканский строй Древнего Рима, казалась ему прекраснее всех легенд и сказок. Не знал он тогда, что пройдет каких-нибудь десять лет и товарищи назовут его новым Брутом.

Задремал он, когда уже светало, и увидел во сне Софи. Первый раз за время разлуки она приснилась ему. Сон был точный, реальный. Казалось, он вернул Каховского к счастливым дням, единственным счастливым дням его жизни.

...Августовский день был ярким и знойным. Они отправились с Софи на верховую прогулку. Наконец-то им удалось остаться вдвоем. Придорожные ветви касались лица и плеч. Сначала они оживленно говорили о литературе, о поэзии. Каховский читал стихи Пушкина, Державина, Жуковского. Потом умолкли и ехали некоторое время молча. Лошади шли ровно, рядом. Вдруг Петр Григорьевич, чуть подавшись вперед всем своим худым телом, прошептал:

— Софья Михайловна! Все эти дни я живу между страхом и надеждой. Не мучьте меня. Я люблю вас! Может, это дерзость... Я не богат, не знатен. Скажите, любим ли я?

— Если бы вы не заметили моих чувств, вы не решились бы сказать то, что сказали...— опустив глаза и покраснев, еле слышно ответила Софи.

...И сейчас, во сне, сердце его так гулко и часто забилось, что он проснулся. Долго лежал не открывая глаз, боясь спугнуть воспоминания.

Скупое петербургское солнце заглядывало в плохо промытые, незанавешенные окна. Сон медленно сменялся явью. Он отчетливо припомнил вчерашний разговор с Рылеевым и подумал, что надо сейчас же пойти к нему и все подробно узнать об обществе. Он связывает себя с людьми на всю жизнь, нельзя быть неосмотрительным.

Каховский поднялся, все еще находясь под впечатлением сна. Казалось — это добрый знак, что именно сегодня, когда предстоит сделать решительный шаг, ему приснилась Софи...

В комнате было неприбрано, пыльно, вещи разбросаны. За квартиру не плачено, того гляди появится хозяйка, станет скандалить и требовать денег.

При одной мысли об оскорблениях, которые неминуемо должны обрушиться на его голову, он стал торопливо одеваться. Хотелось скорее уйти из этого мрачного, жалкого жилища. Ведь теперь Петр Григорьевич знал, что существует иной мир — мир борьбы и правды, где его ждут друзья.

Не выпив даже стакана чая, Каховский ушел из дома.

*

У Рылеева было много гостей, и Каховский, ожидая, пока все разойдутся, засиделся допоздна. Рылеев с недоумением поглядывал на него: не пора ли и тебе, мол, домой?

Наконец они остались одни, и Каховский сразу, без всяких предисловий, приступил к разговору:

— Какова цель вашего общества?

— Я уже говорил тебе, — удивленно ответил Рылеев. — Водворение правления народного.

— Каковы силы и средства общества? — требовательно спросил Каховский.

— Этого я не могу сказать! — категорически отрезал Рылеев.

Некоторое время они сидели молча. Молчание становилось все напряженнее, и, чтобы разрушить его, Рылеев сказал:

— Главная паша задача — возбуждать ненависть к правительству и стремление в свободе. Поручаю тебе усилить состав общества надежными людьми. Старайся привлекать офицеров гвардии. Но будь осторожен... Хочешь, я дам тебе возмутительные стихи для распространения?

— Не надо! — резко ответил Каховский. — Их и так все знают! Песни прекрасные, — вдруг, переменив тон, миролюбиво сказал он, но тут же добавил: — Однако ты не сказал мне ничего нового. Ты не принял меня, а только соединил с обществом. Ну что ж, видно, так надо!

Каховский согласился исполнять поручения Рылеева. Распространял идеи общества, вербовал новых членов. Среди них были поручики лейб-гвардии гренадерского полка. Особенно понравились Рылееву исполнительный, сдержанный Сутгоф и Панов, славившийся в полку своей непримиримостью к несправедливости.

Теперь Каховский бывал у Рылеева почти ежедневно. Он перезнакомился со многими членами общества. Петр Григорьевич был счастлив — наконец-то кончилось одиночество и он попал в круг истинных друзей...

Однако вскоре на него опять стали находить сомнения. Умный и наблюдательный, он не мог не почувствовать, что с самого начала занял в обществе обособленное положение. Члены его в большинстве своем были люди светские, богатые, блестящие офицеры. Нередко они приезжали на заседания общества прямо с придворных балов. Он же единственный был без имени, без состояния. Не раз замечал он, что его потрепанная одежда вызвала недоумение и брезгливые взгляды. Резкость и прямота суждений коробила. Каховский чувствовал, что откровенны с ним не до конца.

Он страдал, молчал, сдерживался на людях, а придя домой, бросался на свою смятую постель и, кусая губы и глотая соленые слезы, проводил ночи без сна.

Рылеев предназначал ему важную роль в будущем восстании. Именно он, Каховский, должен убить императора.

Каховский был горд, что ему выпадет честь избавить русский народ от тирана. Но он не может, не хочет быть просто орудием в руках этих людей, поглядывающих на него высокомерно и по-барски пренебрежительно.

А может, ему не доверяют?

Правда, однажды Александр Бестужев, когда Каховский стал расспрашивать его, кто еще является членом общества, ответил коротко:

— Скажу тебе честно, не знаю!

Петр Григорьевич немного успокоился. Но через некоторое время сомнения вспыхнули с новой силой. Он опять стал замкнутым, молчаливым, на всех поглядывал подозрительно и стал все реже и реже встречаться с Рылевым.

А тут еще денежные трудности одолевали. Платье вконец износилось, а заказать было не на что. С квар-



тиры гнали за неуплату. Он стал подумывать о том, чтобы уехать из Петербурга.

Но не в характере Каховского было долго молчать и таиться. Он решил открыто объясниться с Рылеевым.

Вскоре случай такой представился. Они встретились на одном из литературных завтраков.

Увидев Каховского, Рылеев приветливо пошел к нему навстречу и, крепко пожимая руку, быстро заговорил:

— Вот приятная встреча! Я так давно не видел тебя, Петр Григорьевич, а у меня к тебе дело...

— Я собираюсь домой, в Смоленск уехать,— мрачно сказал Каховский.

— Тебе лучше остаться в Петербурге.

— Скажу откровенно, Рылеев, не могу я тут жить: денег нет.

— Зачем ты раньше не сказал? Возьми у меня!

Каховский отпрянул, но Рылеев крепко держал его за руку.

— Пойдем ко мне обедать, там обо всем поговорим,— ласково сказал он.

За обедом были гости, и снова только поздним вечером им удалось остаться вдвоем.

— Пойми, ты необходим в Петербурге,— решительно заговорил Рылеев, возобновляя прерванный утром разговор.— Общество скоро начнет действие...

— Когда же? — недоверчиво спросил Каховский.

Рылеев взглянул на образ, висевший в углу, и сказал торжественно:

— Клянусь, что непременно в 1826 году! Членов общества уже достаточно. Остается готовить солдат.

— Но как я буду жить? На твои подачки?

— Оставь, пожалуйста! Возьми себе службу. Кстати, не хочешь ли заказать новое платье? Я поручусь моему портному, он сошьет в кредит...

Каховский промолчал.

— Если мое присутствие необходимо, я останусь в Петербурге ждать восстания,— наконец негромко ответил он.

Но Рылееву показалось, что решимость Каховского ослабела, и, чтобы расшевелить его, рассказал, что недавно был принят в общество Якубович.

— Якубович намерен убить царя,— горячо говорил Рылеев.— Да как эффектно! Он хочет выехать на парад в черной черкеске, на черном коне...

— Ничего, брат Рылеев, нет здесь хорошего! Поступок Якубовича — это месть оскорбленного безумца. Он был разжалован и сослан на Кавказ, теперь вернулся и кипит ненавистью к царю. А по-моему, умерщвление тирана — это акт высшей нравственности.

— Крайней необходимости, — возразил Рылеев.

В открытое окно тянуло ночной свежестью, пламя свечи мерно колебалось. Разговор вошел в спокойное русло, бывшая приязнь связывала друзей, Рылеев подумал было, что размолвка наконец забыта.

Но вот Каховский опять стал задавать вопросы. Рылеев рассердился.

— Ты рядовой член общества, — сердито сказал он. — И от меня немного зависит... Все, что я считал вправе сказать, я тебе сказал...

Каховский исподлобья мрачно смотрел на Рылеева, и его верхняя губа дрогнула.

— Как ты думаешь? — спросил он громко. — Если человек решает пожертвовать жизнью, должен он знать, для чего он ею жертвует? Ради идеи либо ради тщеславия других?

Петр Григорьевич сидел в кресле, сгорбленный, жалкий, обиженный и, вздыхая, повторял:

— Ты хочешь сделать меня орудием в руках своих... А я не желаю быть ступенькой для умников! — он вскочил и, волнуясь, зашагал по кабинету. — Я готов жертвовать собой отечеству, работать для общего блага. Но я хочу знать всех членов тайного общества, хочу выяснить ряд вопросов. Иначе я выхожу из общества!

Рылеев не сдержался и сухо ответил:

— Ну и уходи!

И он ушел.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Из Петербурга Шервуд отправился прямо в штаб своего полка. Однополчане не чаяли, что Шервуд вернется, думали, доживать ему век в каменном мешке,— шутка ли, человека увезли с фельдъегерем по высочайшему повелению! Но Шервуд вернулся живой и невредимый. Держался он мрачно и отчужденно. Его, видите ли, оскорбили в лучших чувствах, незаслуженно обвинив в похищении вещей у грека Зосимы. Но государь, который лично знал Шервудова отца, во всем, мол, разобрался. Шервуду принесли извинения, дали на год отпуск, чтобы он мог привести в порядок дела, а за поруху чести наградили тысячью рублями.

Шервуда поздравляли с благополучным окончанием дела. А он, став теперь человеком свободным, не замедлил отправиться в Курск, где стоял со своим полком Вадковский.

Вадковский встретил Шервуда с распростертыми объятиями.

— Друг мой, какую подлость над тобой совершили! — воскликнул он, обнимая Шервуда.

— Что делать, — мрачно ответил Шервуд. — Это мне отличный урок. Теперь все силы я смогу отдать нашему делу.

Растроганный Вадковский, не откладывая дела в долгий ящик, подробно рассказал Шервуду о делах общества и, показав на футляр от скрипки, сказал многозначительно:

— Знай, Шервуд, в этом футляре хранятся списки всех членов общества...

Шервуд покосился на футляр, но особого интереса не проявил, чтобы не вызвать подозрений.

— Каково идут наши дела? — спросил он Вадковского.

— Прекрасно! — живо отозвался тот. — Скоро начнем... Тебе надо собрать некоторые сведения от Южного и Северного обществ.

— Чего же лучше! — удовлетворенно ответил Шервуд. — За обиду, мне сделанную, и по любви к человечеству я готов потратить весь этот год на разъезды от одного общества к другому.

Вадковский принялся горячо благодарить Шервуда. Он тут же написал ряд писем, которые следовало доставить по назначению. Одно из них — донесение Павлу Пестелю, в котором Вадковский рассказывал о петербургском обществе, членом которого состоял, и о своей теперешней деятельности на Юге. Подателя письма Вадковский характеризовал как человека непреклонной воли, проникнутого чувством чести, верного своему слову. Он советовал Пестелю быть с ним откровенным и доверчивым.

Шервуд прожил у Вадковского несколько дней, пролетевших в задушевнейших разговорах, потом дружески распрощался и уехал.

Надо было найти укромное место, откуда можно спокойно написать графу Аракчееву обо всем, что удалось узнать. Шервуд отправился в Орловскую губернию, в имение полковника Гревса. Его и здесь встретили радушно, жалели — как никак человек невинно пострадал, едва не оказался опозоренным. Шервуду отвели небольшую комнату.

По вечерам, когда в доме все стихало, Шервуд зажигал свечу и, слушая, как барабанит по стеклам нудный осенний дождь, сочинял свои доносы, просил предпринять решительные меры для открытия заговора.

В назначенный час он прибыл на станцию в город Карачев, куда должен был приехать фельдъегерь, чтобы взять у Шервуда письма. Само собой разумеется, что отправлять такие письма по почте было бы неосмотрительно.

Шервуд приехал точно в назначенный час, а фельдъегеря еще не было. Иван Васильевич расположился на постоялом дворе, с нетерпением поглядывая в окно. Прошел час, другой, никто не являлся.

Пришел смотритель, спросил, не пора ли закладывать лошадей?

Шервуд пожаловался на сильную головную боль, повязал голову полотенцем, спросил уксусу.

— Захворал я что-то, — сказал он жалобно. — Не могу ехать дальше, придется здесь отлежаться...

Шервуд оказался незаурядным актером. Он так естественно изображал страдания, что смотритель не отходил от него, ухаживал, подносил лекарство, поил горячим чаем. Несколько раз предлагал позвать лекаря, но Шервуд отказывался, говорил, что такие припадки

случаются у него часто, надо лишь полежать, и все пройдет само собой.

Фельдъегерь прибыл с опозданием на несколько дней. Шервуд услад смотрителя в ближайшую лавчонку с каким-то поручением и, оставшись наедине с фельдъегерем, строго спросил:

— Почему опоздали?

Тот только рукой махнул.

— У нас, батенька, такие дела творятся,— понизив голос, скороговоркой заговорил он.— Страх сказать! Экономку аракчеевскую Настасью Минькину мужики в Грузине зарезали... Сами знаете, она зверствами своими на всю Россию славилась. Граф как помешанный стал, все дела забросил.

Шервуд внимательно выслушал рассказ фельдъегеря, но в разговоры с ним вступать не стал. Передав письма, постарался как можно скорее и незаметнее покинуть постоянный двор, где его длительное пребывание стало вызывать подозрение у городских властей.

Письмо, адресованное Вадковским Павлу Пестелю, «проникнутый чувством чести» Иван Васильевич Шервуд среди других бумаг отправил царю.

*

Вятский полк, которым командовал Пестель, расположился в местечке Линцы, верстах в шестидесяти от города Тульчина. Почтовый тракт доходил только до Крапивны, а оттуда надо было ехать по глухой проселочной дороге через дремучий лес, тянувшийся на несколько десятков верст,— дубовый и сосновый.

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, воспользовавшись служебными разъездами, решил навестить Пестеля, чтобы доложить ему о делах общества, о деятельности

«славян» и «поляков». С «поляками» последнее время начались разногласия, и он хотел посоветоваться с Пестелем, как поступать дальше. В ожидании встречи — так бывало всегда — Бестужев-Рюмин и радовался и страшился. Как-то встретит его Павел Иванович, одобрит ли его старания?

Вечнозеленая пушистая хвоя перемежалась золотом резной дубовой листвы, и от этого чередования рябило в глазах, все казалось ярким и праздничным. Пахло по-осеннему терпко. Он думал о Катрин, о том, что давно не видел ее. Увлеченный делами общества, ожидая в ближайшее время решительных событий, он считал себя не вправе требовать от нее окончательного ответа. «Вот победим,— с уверенностью молодости думал он,— тогда добьемся согласия на брак. А нет — увезу ее, обвенчаемся тайно. Все равно будет она моею!» — упрямо повторял он про себя.

Поворот, еще поворот, и коляска вылетела на край леса. Прямо перед Михаилом Павловичем открылись Линцы — не то маленький городок, не то большое селение, раскинувшееся на берегу многоводной и светлой Соби. Низенькие хатки с высокими островерхими крышами прятались в садах, уже облетающих. Ветхая церквушка, гостиный двор с лавчонками, полосатая гауптвахта, шлагбаум, а за ним — степь с высокими курганами.

«Словно на краю света примостились Линцы», — подумал Бестужев-Рюмин.

Пестель жил в старом одноэтажном каменном доме. Это был дворец князей Сангушко. Облупившийся, с заколоченными окнами, на дворец он походил мало. Хозяева давно не жили здесь, и Пестель нанял флигель у княжеского управляющего. Двор порос лопухом и крапивой.

За домом шумел на осеннем ветру огромный сад. Черная стая ворон с карканьем кружилась над качающимися верхушками деревьев.

Уже смеркалось, когда Бестужев-Рюмин сошел с пролетки.

И то ли от зловещего карканья, то ли от сгущающихся сумерек — Михаил Павлович с детства не любил этого часа дня — приподнятость погасла, на душе стало тревожно и сумрачно.

Навстречу ему выбежал денщик Пестеля — добродушный и плутоватый Савенко.

— Вот хорошо, что пожаловали, — суетился он вокруг гостя. — Павел Иванович простудились, хандрят все, — щегольнул он «барским» словечком. — Может, с вами развеселятся. Пожалуйте в кабинет!

Бестужев-Рюмин вошел в большую полутемную комнату. Два высоких узких окна выходили в сад, а за окнами те же мрачные деревья с огромными вороньими гнездами.

Во всю стену, от пола до потолка, полки с книгами, письменный стол завален бумагами. В тяжелых бронзовых рамах — деды и прадеды князей Сангушко. С почерневших портретов они строго наблюдали за каждым, кто входил в комнату. Бестужев-Рюмин невольно поежился под их пристальными взглядами.

В огромном камине-очаге с закопченным кирпичным навесом тлели, потрескивая, корявые поленья. Бестужев-Рюмин растерянно оглядывался: где же хозяин?

Пестель сидел на большом кожаном диване, забившись в угол. Глаза его были закрыты — видно, дремал. Бестужев-Рюмин кашлянул, и Пестель поднялся и пошел ему навстречу. Он был в старенькой шинели вместо халата, горло перевязано шейным платком.

— Заходи, заходи,— ласково и хрипловато сказал он.— Нemoжeтся мнe. И рaбoтa нe лaдитcя. Дa ты cадиcь, уcтaл вeдь c дopoги. Ceйчac чaй пить бyдeм...

Бecтyжeв-Рyмин cмoтpeл нa нeгo c yдивлeниeм. Тaким — зaбoтливым и лacкoвым — он никoгдa нe видeл Пecтeля.

Пaвeл Ивaнoвич длиннoй кoчeргoй пoшeвeлил тлeющиe пoлeнья, oни вcпыхнyли, и яркиe иcкpы c трeскoм пoлeтeли ввepх.

— Тaк-тo вecлee,— cкaзaл Пecтeль, нo лицo eгo пo-пpeжнeмy былo пeчaльнo.— Рacкaзывaй, кaк дeлa идyт.

Бecтyжeв-Рyмин cтaл рacкaзывaть, cнaчaлa нeрeшитeльнo, пoтoм вce бoльшe вoдyшeвляяcь, и eгo вoдyшeвлeниe пocтeпeннo пepeдaвaлocь Пecтeлю. Лицo Пaвлa Ивaнoвичa cнoвa cтaнoвилocь cypoвым и рeшитeльным — лицo кoмaндирa.

— Хoрoшo, чтo ты пpиeхaл,— cкaзaл он, выcлyшaв Бecтyжeвa-Рyминa.— Нe тo мнe cтaлo кaзaтьcя, чтo члeны oбщecтвa oхлaдeвaют к нaшeмy дeлy. Нecкoлькo нoчeй нe cплю, вce дyмaю...

Он xoтeл чтo-тo дoбaвить, нo, виднo, paздyмaл и зaмoлчaл.

Мoлчaл и Бecтyжeв-Рyмин. Емy былo тягocтнo в этoй мpaчнoй кoмнaтe. Он пpивык видeть Пecтeля рeшитeльным, нeпoкoлeбимым и вдpyг — нeувeрeннocть, paтeряннocть...

Увы, y Пecтeля были oснoвaния тpeвoжитьcя. Нeдaвнo пoлyчил он зaпиcкy из Кaмeнки oт Вacилия Львoвичa Дaвyдoвa, в кoтoрoй тoт пиcал eмy, чтo гpaф Витт пpocил чeрeз нeкoгo Бoшнякa coглacия нa вcтyплeниe в тaйнoе oбщecтвo. Пpи этoм Витт нaмeкaл, чтo в eгo paспopяжeнии нaхoдитcя copoк тыcяч вoйcкa, кoтoрыe мoгли бы вecьмa пpигoдитьcя зaгoвopщикaм.

Пестель был поражен: откуда Витт мог знать о существовании общества? Как отнестись к его предложению? В армии ходили слухи, что Витт растратил несколько миллионов казенных денег. Впрочем, это были только слухи... А вдруг они окажутся ложными? Тогда общество, отказавшись от предложения Витта, потеряет сорокатысячную армию. Можно ли упустить такое?

Пестель, конечно, не мог знать, что еще в 1819 году Александр I приказал Витту вести наблюдение за многими украинскими губерниями. Витт давно приглядывался к семейству Давыдовых, ко всему, что происходило в Каменке. Он направил туда своего агента — помещика Бошняка, который вскоре так близко сошелся с Василием Львовичем Давыдовым, что у того тайн от него не стало. Недавно через Витта он направил донос царю. Витт с этим доносом самолично отправился в Таганрог, где находился Александр I. Уж теперь-то ему не страшна никакая ревизия!

Пестель посоветовался с товарищами — принимать ли Витта? Его отговаривали.

— Подлец, известный подлец! — единодушно утверждали все.

А тут дошли до Пестеля слухи, что недавно Киселев сказал Волконскому:

— Послушай, друг Сергей, у тебя и у многих твоих тесных друзей бродит на уме бог весть что! Ведь это поведет вас в Сибирь. Помни, ты имеешь жену, она ждет ребенка, уклонись ты от этих пустячных бредней, столица которых в Каменке...

«Неужели раскрыты?» — с тоской думал Пестель.

И сейчас, глядя на восторженное, вдохновенное лицо Бестужева-Рюмина, он размышлял, открыть ли ему трудные свои раздумья. Будучи искренне привязан к

этому юноше, Пестель не хотел вносить смятение в его сердце. Но имел ли он право скрыть надвигавшуюся опасность?

Они продолжали сидеть молча в полутемной, залитой красноватым зловещим светом комнате.

Дверь из кабинета была растворена в маленькую комнатку, служившую Пестелю спальней. Бестужев-Рюмин видел на стене тускло поблескивающую золотую иппагу, которой Пестель был награжден за храбрость, проявленную в сражении под Бородином. Рядом с кроватью стоял большой кованый сундук под тяжелым замком. И почему-то Бестужев-Рюмин вдруг подумал, что, верно, в этом сундуке Пестель хранит «Русскую правду»...

Судьба «Русской правды» весьма беспокоила Пестеля. Теперь, когда он понимал, что ему каждую минуту может грозить арест, он заботился о судьбе конституции больше, чем о своей собственной.

Недавно с помощью одного из членов общества Пестель переправил «Русскую правду» в Немиров, но и там обстановка была напряженной, и рукопись вернули в Тульчин, а оттуда увезли в деревню Кириасовку. Там члены общества Заикин и Бобрищев-Пушкин зашили рукопись в клеенку и зарыли в придорожной канаве.

— Недаром народ поговорку сложил, — задумчиво сказал Пестель, — промедление смерти подобно. Медлит Север, медлим мы. Пора действовать. Ты скажи Сергею Муравьеву-Апостолу: приближаются сроки. Нет у меня пока точных сведений, но кажется мне, что обкладывают нас со всех сторон, как волков на охоте...

— Не мы ли твердим, что нужно действие, действие и действие! — горячо воскликнул Бестужев-Рюмин.

— До двадцать шестого года и двух месяцев не осталось! — решительно сказал Пестель. — В двадцать шестом начнем.

Не знал Павел Иванович, что непредвиденные обстоятельства заставят членов общества начать свои действия раньше. Не знал он и того, что до событий этих осталось всего лишь несколько дней. Не знал, что 13 декабря он будет арестован, посажен в Тульчинскую тюрьму. А потом помчат фельдъегерские тройки его в столицу. Его, Пестеля, важнейшего государственного преступника.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ НАЧИНАЕТСЯ!

Всемь часов утра Рылееву принесли записку от Трубецкого:

«Царь опасно болен, едва ли жив. Весь синклит сейчас собирается в Александро-Невскую лавру для молебствия. Еду узнавать».

Уже несколько дней ползли по Петербургу тревожные слухи о том, что царь, находясь в Таганроге, тяжело заболел. Но никаких официальных сообщений пока не было. И вот...

Рылеев быстро оделся. Сев за стол, он написал большое письмо Пущину, просил срочно приехать в Петербург. Запечатав конверт, вызвал Петра и велел закладывать лошадей, хотел ехать к Трубецкому — не терпелось узнать новости. Но в кабинет вошла жена и воспротивилась его намерению:

— Ты совсем простужен, Кондраша,— просительно

сказала она.— Погляди на себя, красный весь, глаза блестят, жар у тебя... Выпей липового чаю и полежи.

Рылеев стал было спорить, но Наташа проявила несвойственную ей твердость и заявила, что не пустит его ни за что на свете. Пришлось покориться.

Рылеев лег на софу и, чтобы отвлечься, снял с полки первую попавшуюся книгу. Чтение успокаивало, он задремал.

Время волоочащейся по полу саблей, в кабинет влетел Якубович. Выкатив глаза, налитые кровью, он крикнул:

— Умер царь!

Проклиная все и всех за то, что ему не пришлось убить своего врага, Якубович так же внезапно, как появился, ушел, ничего толком не рассказав.

Было уже около одиннадцати. Курьер принес деловые бумаги. Рылеев рассеянно подписал их и послал в канцелярию записку, что сегодня быть на службе не сможет.

Вскоре приехал Трубецкой. Привыкший к простору громадных своих комнат, он всегда чувствовал себя неловко в маленьком кабинете Рылеева и долго усаживался в кресле, укладывая длинные ноги.

— Я был на заседании Государственного Совета,— говорил он. — Царь завещал престол не Константину, как это следовало по закону, а Николаю Павловичу. Но сенатор Мордвинов, дочитав завещание до конца, спокойно встал и сказал: «А теперь пойдем присягать императору Константину!»

— Почему? — изумился Рылеев. — Ведь престол завещан Николаю!

— Не знаю. Словом, повели нас в покои Николая Павловича, и ему было объявлено решение Совета. Николай, услышав, что его не хотят признавать царем, вышел к войскам и сам присягнул Константину.

— Обстоятельства чрезвычайные, князь! — восклик-

нул Рылеев.— Надо действовать. Необходимо избрать диктатора. Я уже говорил раньше с членами общества, и они согласны со мной — мы хотим избрать диктатором вас. Вы полковник Генерального штаба, занимаете высокий пост, солдаты знают вас, помнят ваше участие в Бородинском сражении, в заграничных походах. Трудно найти человека, который вызвал бы такое доверие в войсках...

Трубецкой поднялся. На его побледневшем лице изобразился испуг.

— Перемена самовластного правителя наводит невольную боязнь! — зашептал он с опаской и, пристально заглянув в глаза Рылеева, произнес шепотом: — Лучше бы ночью, как Павла...

— Что вы говорите, князь?! — возмутился Рылеев, с неприязнью глядя на него. — Мы должны действовать не тайся. Наши замыслы благородны и бескорыстны!

— Я против того, чтобы сейчас начинать действия, — мрачно проговорил Трубецкой. — Сил у нас еще недостаточно.

— Мы не имеем права медлить! — горячо возразил Рылеев. — Столь благоприятного момента не будет.

— Если бы я знал заранее, — медленно продолжал Трубецкой, — я бы составил план действий.

Его тонкое аристократическое лицо было бледно и торжественно, но сквозь эту торжественность все отчетливее проступал страх.

— А вы и составьте, князь, — уже с трудом сдерживая раздражение, сказал Рылеев. — Ведь переворот должен совершиться силой военной.

Трубецкой ничего не ответил и, торопливо попрощавшись, уехал.

Не успела закрыться за ним дверь, как вошел Николай Бестужев. Рылеев никогда не видел сдержан-

ного Николая Бестужева в таком волнении. Не снимая шинели, он остановился на пороге кабинета, бросая в лицо Рылееву укоризненные слова:

— Ты поступил не так, как должно, Кондратий! Где общество? Почему не оповестили членов о смертельной болезни царя?! Во дворце уже больше недели получали тревожные бюллетени. Что намерено предпринять общество? Говори!

Рылеев молчал. Упершись локтями в колени, он положил голову на ладони. От жара, от волнения голова нестерпимо болела.

— Я сейчас столкнулся с Трубецким,— продолжал возбужденно Николай Бестужев.— Кажется, князь напуган не в меру.

Рылеев поморщился.

— Трубецкой один из старейших членов общества,— возразил он.— Я уверен, что в решительный момент князь покажет себя с лучшей стороны.

— Дай-то бог, дай-то бог...

— Надо узнать о настроениях в городе и в войсках,— сказал Рылеев.— Я поеду собирать сведения.

*

Два дня и две ночи Рылеев вместе с Бестужевым ходил по казармам, разговаривал с солдатами:

— Знаете ли, братцы, что в сенате есть завещание покойного государя, а нам его не объявили?

— И слыхом не слыхивали!

И пополз среди солдат слух: царь хотел объявить волю крестьянам, а солдатам сбавить срок службы...

На третий день Рылеев слег, жар свалил его. В бреду он звал жену и дочь. Они не отходили от постели, но он не узнавал их. Из его несвязных слов Наташа поня-

ла, что ее Кондратий задумал что-то страшное, и так напугалась, что не решилась звать доктора, а послала за Александром Бестужевым. Александр пришел, взглянул на больного и сам кинулся за врачом.

Доктор внимательно осмотрел Рылеева и нашел его состояние весьма тяжелым. Велел поставить на горло компресс, прописал лекарства. Делая перевязку, Александр слишком туго затянул шарф, и Рылеев невольно вскрикнул от боли.

— Как тебе не стыдно, Кондратий,— пошутил Александр Бестужев.— Ты-то ведь знаешь, к чему следует тебе приучать свою шею...

Знал бы он, что слова его окажутся пророческими...

*

В России наступило междуцарствие. Вернее — двоецарствие. По завещанию Александра I наследником престола являлся Николай. Завещание хранилось в тайне, о нем знали немногие. Получив известие о смерти брата, Николай не решился заявить свои права — ведь завещание было тайным — и присягнул Константину. А цесаревич Константин, живший в Варшаве, присягнул Николаю. Таким образом в России было два царя, но ни один из них не вступал на престол.

В Варшаву был послан гонец. Николай с нетерпением ждал отречения брата. 1 декабря из Варшавы в Петербург приехал младший брат царя — Михаил и привез от Константина письмо. Тот поздравлял Николая, называл его «императорским величеством», но об отречении ничего не писал.

Николай пришел в бешенство. Он снова послал брата в Варшаву, строго наказав на этот раз не возвращаться



до тех пор, пока не получит от Константина либо манифеста о вступлении на престол, либо отречения.

И вот отречение получено...

14 декабря войска должны были присягнуть новому императору — Николаю I.

Медлить дальше было нельзя. Тайное общество решило в этот день начать открытые действия. Вывести войска на Сенатскую площадь и силою оружия заставить Сенат отказаться присягать Николаю.

Рылееву и Пушкину было поручено предложить Сенату подписать выработанный тайным обществом «Манифест к русскому народу». В этом манифесте царское правительство объявлялось низложенным, провозглашались отмена крепостного права, широкие демократические преобразования: свобода слова, вероисповедания, устанавливалось равенство всех сословий перед законом, уменьшение сроков солдатской службы.

Чтобы решить, каков будет строй новой России — республика или конституционная монархия, предполагалось созвать Великий собор. Судьбу царской фамилии тоже должен был решить Великий собор.

И снова члены общества ездили по казармам, призывая солдат не присягать Николаю.

Вечером 13 декабря члены тайного общества собрались на квартире Рылеева у Синего моста.

Все были торжественны и взволнованны. Рылеев, похудевший после болезни, с горлом, обязанным шарфом, бледный и быстрый, торопливо отдавал последние распоряжения. Слова его были логичны и четки. Но порой ему казалось, что все происходящее призрачно, словно еще продолжалась болезнь и он не вышел из забытья. И он все время мысленно повторял написанные недавно строчки:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю...

А вокруг спорили и шумели друзья, товарищи по борьбе, братья по духу. Что-то будет завтра со всеми ними? Куда он ведет их: к славе ли, к гибели?

Все было продумано и решено. Утром полковник Бужатов выводил на Сенатскую площадь лейб-гренадерский полк. На рассвете Александр Бестужев и Якубович отправляются в Московский полк. После того как полк прибывает на площадь, Бестужевы и Якубович пройдут

в казармы на Литейный и приведут на Сенатскую площадь артиллеристов.

Революционные войска окружают здание Сената. К сенаторам, собравшимся для присяги, явится делегация от восставших и предложит им объявить Николая I низложенным и издать «Манифест к русскому народу». Пока революционная делегация будет вести переговоры в Сенате, гвардейский морской экипаж, Измайловский полк и конно-пионерный эскадрон должны были занять Зимний дворец, арестовать царскую семью.

К Рылееву подошел Каховский. Длинный, нелепый, взлохмаченный.

— Какая роль отведена обществом мне? — настороженно спросил он.

Рылеев, подавшись вперед, крепко обнял Каховского.

— Я знаю твоё самоотвержение, Петр Григорьевич! — дрогнувшим от волнения голосом начал он. — Ты сир на земле... Помнишь, друг, мы не раз говорили с тобой об этом... Открой нам ход, истреби императора!

Он отстранил Каховского и протянул ему кинжал.

Каховский, весь сгорбившись, нагнулся было, чтобы поцеловать Рылеева, но вдруг почувствовал, что слезы выступают у него на глазах. «Сир на земле!» — мысленно повторил он. — Да, сир. И поэтому они так легко отдадут меня в жертву».

Сир... Идет на верную смерть и даже проводить его некому, не с кем попрощаться. Софи не вспомнит о нем в этот страшный и прекрасный день...

Петр Григорьевич глубоко вздохнул и, громко глотнув застрявший в горле комок, спросил Рылеева:

— Как же я это сделаю? — Вопрос его был похож на горький вскрик.

— Надо дожидаться утра, когда Николай Павлович выйдет из дворца...

— Или на Дворцовой площади,— добавил Александр Бестужев, подходя к ним.

Каховскому жали руки, благодарили, кто-то предложил тост за его здоровье, за успех порученного дела. А он стоял растерянный, опустив свои длинные руки, и чувствовал себя чужим среди них.

«Ты сир на земле!» — звучало у него в ушах. — Ну что ж, — подумал он с неожиданным облегчением. — А может, так лучше? Незачем дорожить жизнью...»

Он незаметно вышел в переднюю, молча оделся. На улице падал липкий тяжелый снег. По Синему мосту медленно брел одинокий человек, и снег бесшумно и быстро укрывал его следы.

Как тихо! Так неужели завтра?..

*

А в квартире Рылеева все не расходился народ. Одни уезжали, другие приезжали. Петр приносил самовар за самоваром.

Отхлебывая крепкий красный чай из тонкого стакана, Трубецкой спросил недовольно:

— Что это, Рылеев, так много народу наезжает?

— Сказывать и осведомиться,— сухо ответил Рылеев.

— О чем осведомиться? — криво усмехнулся Трубецкой. — О гибели?

Рылеев опустил глаза, чтобы Трубецкой не прочел в них гнева и раздражения. Как смеет он в такую минуту?! И Рылеев сказал вдруг с несвойственной ему жестокостью:

— Умирать все равно придется. Мы обречены на гибель. Вот, извольте прочитать! — он протянул Трубецкому исписанный лист бумаги. — Нам изменили. Но я верю, есть у нас еще силы и не все потеряно!

— Разрешите взглянуть,— сухо сказал Трубецкой и взял бумагу из рук Рылеева.

Он читал, и лицо его то краснело, то становилось мертвенно-бледным. Тонкие губы сжимались.

...Сегодня днем Рылеев зашел к Оболенскому. Там он застал гвардейца Якова Ростовцева. Ростовцев писал неплохие стихи. Они должны были появиться в следующем номере «Полярной звезды». Рылееву нравился этот юноша. Встретив его сегодня у Оболенского, Кондратий Федорович обрадовался:

— Яков, и ты с нами?! Как хорошо...

Ростовцев вдруг густо покраснел и заговорил смущенно и сбивчиво:

— Друзья, вы знаете... Я предупреждал вас! Вчера я был у Николая Павловича... Все меры против возмущения будут приняты. Ваши покушения тщетны... Я подал письмо... Имен я не назвал. Вот копия...

Рылеев резким движением выхватил у Ростовцева бумагу и стал читать вслух, сначала громко, потом все тише и тише:

«В народе и войске распространился уже слух, что великий князь Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко влечению вашего доброго сердца, доверяя излишне приближенным к вам, вы весьма многих противу себя раздражили. Для вашей собственной славы погодите царствовать: противу вас должно таиться возмущение, которое вспыхнет при новой присяге, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселения и отдельный Кавказский корпус будут решительно против...»

Окончив чтение, Рылеев непонимающими глазами взглянул на Оболенского.

— Ты употребил во зло мою доверенность, Яков! — в бешенстве крикнул Оболенский. — Ты изменил моей к тебе дружбе! Великий князь знает нас наперечет. Он уничтожит нас. Но ты должен погибнуть прежде всех. Ты будешь первой жертвой!

— Оболенский, если ты считаешь себя вправе мстить мне, отомсти теперь! — спокойно сказал Ростовцев.

Рылеев бросился между ними.

— Нет, Оболенский! Ростовцев не виноват, что он различного с нами образа мыслей. Конечно, он изменил твоей доверенности, но кто давал тебе право быть с ним излишне откровенным? Он действовал по долгу совести. — Рылеев стиснул зубы. — Он жертвовал своей жизнью, идя к Николаю, теперь он вновь жертвует ею, придя к нам. Лучше обними его на прощание...

Оболенский послушно обнял Ростовцева.

— Я желал бы задушить его в моих объятиях! — в бешенстве пробормотал он.

— Господа, я оставляю у вас мои документы. Молю, употребите их в вашу пользу! — Ростовцев выбежал из комнаты.

Оболенский взглянул на часы:

— В пять часов 13 декабря 1825 года к именам предателей и шпионов революции добавлено новое имя — Яков Ростовцев!

...Трубецкой дочитал письмо и сказал громко:

— Ножны изломаны, сабель спрятать нельзя! До завтра, господа!



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ

Был уже седьмой час, когда Рылеев лег в постель, а в семь пришел Трубецкой.

— Я не хочу, чтобы первым выходил морской экипаж. Он всех слабее, — решительно заговорил Трубецкой. — А если другие полки не пойдут за нами?

— Но как же, князь, — приподнимаясь на локте, встревоженно спросил Рылеев. — Ведь все распоряжения сделаны.

— Отмените! Да и вообще, стоит ли?

Рылеев ничего не ответил и стал одеваться. Трубецкой тоже хмуро молчал.

Дверь отворилась, и вошел Иван Иванович Пущин. Получив письмо Рылеева, он, несмотря на запрещение начальства, покинул Москву и вот уже несколько дней находился в Петербурге.

— Сенат присягает Николаю! — взволнованно загово-

рил он.— Отца моего, сенатора, вызвали ни свет ни заря. Царь решил опередить нас...

— Не надо начинать! — умоляющим голосом твердил Трубецкой.

— Нет, надо! — не сдержавшись, крикнул Рылеев.

Трубецкой молча поднялся и уехал.

Рылеев быстрыми шагами подошел к окну и отворил форточку. Утро было ясное, тихое. Все как обычно. Из мелочной лавчонки выбежал мальчик с пачкой газет в руках и громко крикнул:

— У нас новый государь! Царствует Николай Павлович!

По набережной мелькнули сани и остановились у подъезда. Приехал Якубович. Вслед за ним в комнату вошел Оболенский.

— Как идут дела? — обратился к нему Рылеев.

Еще до рассвета Оболенский верхом объехал Измайловские казармы, конногвардейский дивизион, казармы гренадерского экипажа, Семеновского, Егерского и Московского полков.

— Ждут сигнала, — коротко ответил Оболенский.

Бесшумно появился Петр и, подойдя к Рылееву, негромко сказал:

— Вашу записку я отнес господину Кюхельбекеру еще при свечах. Обещали скоро быть...

Рылеев пожал ему руку. И вдруг Петр, всегда невозмутимый, бросился перед ним на колени:

— Батюшка ты наш! За народ идешь страдать! — прошептал он.

Рылеев отвернулся и велел ему уйти, боялся расчувствоваться.

Выбежал Александр Бестужев, веселый и решительный. За ним, сутулясь, стоял Каховский.

— Что скажешь, Кондратий? — хрипло спросил он.

— Все распоряжения сделаны. Бог управит остальное,— устало ответил Рылеев.

— Я хочу подтвердить,— стискивая кулаки, четко выговорил Каховский, — что исполню поручение, на меня возложенное.

Все обнялись и расцеловались. Губы Рылеева были холодны.

Пришел Николай Бестужев.

— Я ждал тебя! — обрадовался Рылеев. — Пусть морской экипаж не выходит первым. Трубецкой приказал.

— Значит, с москвичей начнем? — удивился Николай Бестужев.

— Да. Ты иди в морской экипаж, Каховский в лейб-гренадерский, а я поеду в Финляндский полк,— говорил Рылеев. — Сума через плечо, ружье в руки, встану в солдатский строй...

— Во фраке? — усмехнулся Николай Бестужев.

— Да-да,— растерянно ответил Рылеев. — Впрочем, нет! Может, лучше надеть русский кафтан, чтобы сравнять солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы?..

— Что ты, друг! — возмутился Николай Бестужев. — Где солдатам понять такие тонкости патриотизма? Да они тебя скорее прикладом ударят, чем посочувствуют твоему благородному, но неуместному маскараду!

— Наверное, ты прав, это слишком романтично,— задумчиво сказал Рылеев. — Надо просто, без затей. Что ж, друзья, может быть, сегодня исполнятся наши мечты!

Он крепко обнял Николая Бестужева.

— К делу, друзья! — звонко воскликнул Александр Бестужев.

Они уже хотели идти, но в переднюю вбежала Наташа. С плачем схватила она за руку Николая Бестужева:

— Не уводите его! Я знаю, он на погибель идет!

В растерянности все замолчали. И казалось, откуда-то очень издалека прозвучал в этой тишине голос Рылеева:

— Я скоро вернусь, Наташенька! Верь мне, в намерениях моих нет ничего опасного... Я хочу добра людям,— и, решительно высвободившись из объятий жены, он выбежал на улицу.

Друзья догнали его.

*

На Сенатской площади собрался народ. В вечной скачке застыл над площадью бронзовый Петр. Дул ледяной ветер. Впервые за зиму подморозило — было градусов восемь.

В одиннадцатом часу утра на Сенатскую площадь пришел Московский полк. На зимнем ветру развевалось полковое знамя — награда за Бородино. Полк выстроился четырехугольным каре вокруг памятника Петру I.

Солдаты Московского полка были бодрые, возбужденные. В спешке они выступили без шинелей и теперь торопили начать действие — холодно. Ледяной ветер с Невы то и дело пролетал над площадью.

Александр Бестужев в парадном мундире стоял в середине каре и лихо точил саблю о гранит памятника. Под скупым зимним солнцем поблескивали пуговицы и аксельбанты его адъютантского мундира.

— Московский полк — сердце России, ура! — кричал он, и солдаты восторженно вторили ему:

— Ура-а!

Александр Бестужев смотрел на солдат влюбленными глазами: вот они, герои Бородина и Смоленска, отстаивавшие отечество и со славой вступившие в Париж! Сегодня они вышли на новый бой — бой за свою свободу...

Вокруг восставшего полка шумела толпа. Народ заполнил Дворцовую и Сенатскую площади, — все пришли поглядеть на невиданное зрелище. Люди переходили с одной площади на другую, собирались большими группами, обсуждали происходящее.

К Московскому полку один за другим подходили члены тайного общества. Вскоре внутри каре собралось много людей, военных и штатских, в шинелях и шубах. Друзья обнимались, целовали друг друга.

— Святые минуты свободы... — негромко проговорил кто-то.

Рылеев метался среди собравшихся, и пелерина на его шубе взлетала, словно крылья огромной птицы.

К тому времени, как полк вышел на площадь, здание Сената было уже пусто: сенаторы присягнули Николаю I и разъехались по домам. Требовалось срочно менять план действий. Сейчас все зависело от находчивости и решительности диктатора Трубецкого. А его не было.

«Где Трубецкой? — в тревоге спрашивал себя Рылеев. — Неужели трусил? Не может быть! Он столько раз отличался на полях сражений...» И вдруг всплыли из глубины памяти чьи-то предостерегающие слова: «Недостаточно военной храбрости, надо иметь политическое мужество, а совместимо ли это в одном лице, именно в Трубецком?» Но Рылеев отогнал от себя эту мысль.

Нет, Трубецкой придет, непременно придет!

Каховский в лиловом фраке, без шинели переходил от колонны к колонне, подбадривая солдат.

— Да здравствует конституция! — громко восклицал он.

Солдаты вторили ему:

— Ура, Константин!

Люди дивились: чудной барин, вроде штатский, а за поясом заткнуты два пистолета и кинжал.

Каховский ожидал: сейчас появится царь, и он выполнит свой долг!

Однако вместо царя к каре подскочил генерал-губернатор Петербурга Милорадович. В мундире, с голубой лентой через плечо он сидел на лошади, гордо вскинув голову.

— Мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осквернившие русский мундир, военную честь, звание солдата! — остановив коня, закричал он, обращаясь к Московскому полку. — Вы пятно России! Вы преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед богом! Что вы затеяли?! Падите к ногам императора и молитесь о прощении!

Солдаты слушали молча. Поняв, что слова его не оказывают должного действия, генерал-губернатор зло и грубо выругался.

К нему подошел Оболенский.

— Ваше сиятельство, извольте оставить в покое солдат! — отчетливо и громко сказал он.

— Кто может запретить мне разговаривать с солдатами?! — в бешенстве крикнул Милорадович.

Оболенский выхватил у солдата ружье.

— Прочь! — воскликнул он и ударил штыком лошадь генерал-губернатора, но не рассчитал удара и поранил Милорадовича в ногу.

Каховский молча, стиснув зубы, наблюдал за Оболенским.

Медленно, чувствуя, как наливаются тяжестью руки, достал из-за пояса пистолет, поднял его и прицелился. Раздался выстрел. Каховский видел, как покачнулся белый султан на шляпе Милорадовича. Генерал накре-

нился и стал тяжело сползать с лошади. Лошадь захрипела, рванулась и вынесла раненого из толпы.

— Кто стрелял? — обернувшись, крикнул Оболенский.

— Я! — спокойно ответил Каховский. — И, кажется, славно попал.

Он снова зарядил пистолет.

*

Николай I решил лично удостовериться, как расположены силы противника, и в сопровождении свиты выехал на Сенатскую площадь.

— Здорово, ребята! — крикнул он, обращаясь к восстановшему полку.

Ответом ему было молчание.

— Долой Николая! — раздался вдруг над площадью голос Александра Бестужева.

— Никто не командует, мы вынуждены бездействовать, и войска наши еще не все подошли, — в отчаянии шепнул Рылеев Пущину. И, не сдержавшись, добавил: — Неужели Трубецкой предаст?

Будь он военным, Рылеев, конечно же, немедленно взял бы на себя командование. Но разве солдаты пойдут за штатским?..

Действовать надо было решительно. Где же Каховский? Рылеев в волнении оглядывался по сторонам, ища его глазами. Каховского поблизости не было. Выстрелив в Милорадовича, Каховский затерялся в толпе. Взгляд Рылеева остановился на Якубовиче, он кинулся к нему, что-то прошептал на ухо. Якубович решительным шагом направился к царю. Рылеев жадно следил за ним.

Вот Якубович подошел к Николаю и стал что-то говорить. Вся фигура его изображала почтение.

«Ну что же он, что же?!» — в недоумении думал Рылеев, ожидая, что вот-вот раздастся выстрел.

Царь вежливо, но холодно слушал. Якубович говорил все быстрее и быстрее.

«Сейчас, сейчас...» — сердце Рылеева бешено колотилось.

Николай милостиво протянул Якубовичу два пальца...

«Храбрый кавказец! — с презрением подумал Рылеев. — Предатель!»

Несколько камней пролетело над головой императора.

— Не хотим Николая!

— Ура, Константин! — раздавались возгласы.

— Пойди сюда, самозванец, мы тебе покажем, как отнимать чужое!

Снова камни и поленья полетели в царя.

Николай в страхе поворотил коня и поскакал к Дворцовой площади.

Рылеев слышал, как некоторые офицеры пытались растолковать народу цель восстания.

— Доброе дело, господа, — громко и неторопливо отвечал им кто-то. — Кабы, отцы родные, вы нам ружья али какое ни на есть оружие дали, то мы бы вам помогли, мигом бы все перевертели...

Подъехала карета. Из нее, сверкая золотыми крестами, вышел митрополит Серафим в сопровождении духовных лиц разного сана. Дрожащим голосом митрополит стал просить солдат во имя христианской любви прекратить бунт и возвратиться в казармы.

— Какой ты митрополит?! — слышались насмешливые крики. — На одной неделе двум царям присягал. Изменник! Поди прочь, сами знаем, что делаем!

Митрополит укоризненно покачал головой, сед в карету и уехал.

Дворцовая площадь заполнялась войсками, верными

Николаю,— пехота, кавалерия, артиллерия. Дважды приказывал царь конногвардейцам идти в атаку на восставших, но они не трогались с места. Наконец, после третьей команды, один из эскадронов отделился и поскакал наперерез площади, к памятнику Петра.

Народ встретил эскадрон градом камней и поленьев. Московцы хотели дать залп, но Александр Бестужев запретил стрелять. Он понимал неравенство сил и ждал помощи. Хоть бы еще один полк подошел! К чему бессмысленные жертвы? Держаться, держаться, пока не подойдет помощь!

Резкий порыв ветра пролетел над площадью.

— Чего ждем, братья?..— слышался ропот солдат.

Три атаки выдержали московцы. Но когда конногвардейцы в четвертый раз промчались мимо каре, солдаты вопреки запретам командира открыли огонь.

И вдруг — верить ли глазам? — Сутгоф вел солдат к Сенату!

Еще радость — во главе морского гвардейского экипажа шел Николай Бестужев. Как один человек, вышли матросы и с ними морские офицеры.

Гвардейский морской экипаж выстроился между Исаакиевским собором и каре Московского полка, взводами на две половины, одна лицом к Адмиралтейству, другая — к манежу.

Рылеев кинулся к Николаю Бестужеву:

— Последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы! Мы дышали ею! За это я охотно отдаю жизнь...

Гарцуя на коне, появился перед восставшими великий князь Михаил. Он сказал, что приехал прямо из Варшавы. Константин отрекся от престола, надо присягать Николаю. Обещал всем прощение, если сейчас же разойдутся.

Кто-то крикнул:

— Не Константин нам нужен, а конституция!

Длиннорукий, худой и высокий Вильгельм Кюхельбекер, накануне принятый в общество, вглядываясь своими подслеповатыми глазами, спросил:

— Который тут великий князь?

— Тот, с черным султаном! А у тебя довольно пороку на полке?

Кюхельбекер прицелился. Вместо выстрела раздался слабый треск — осечка!

И вдруг опять радость: рота лейб-гренадеров, которой командовал батальонный адъютант Панов, прорвала строй войск, окружавших Николая, и направилась к восставшим.

Рота опоздала потому, что Панов по пути завернул в Зимний дворец, уверенный, что (как это и предполагалось по плану восстания) дворец давно занят восставшими.

Во дворце стоял батальон саперов, и начальник их, решив, что Панов пришел ему на помощь, радостно встретил роту. Но Панов, поняв обстановку, громко скомандовал:

— Ребята, за мной! Это не наши!

Рота выбежала из ворот. На Дворцовой площади они увидели царя.

— Стой! — крикнул Николай.

Солдаты остановились.

— Здорово, ребята! — приветствовал их Николай.

Солдаты молчали.

И тогда царь (сам царь!!) спросил:

— Вы куда? Налево? — он указал рукой в сторону восставших. — Или направо?

— Налево! — весело крикнул Панов, и рота бросилась за ним на Сенатскую площадь.

А на площади становилось все шумнее, толпа росла, все настойчивее и громче раздавались выкрики из толпы: — Дайте оружие! Поможем!

К роте лейб-гренадеров подъехал полковник Стюрлер. Он то уговаривал солдат опомниться, то грубо кричал на них. Стюрлера солдаты ненавидели. Трудно было найти человека более жестокого. А он, желая выслужиться перед новым царем, неистовствовал, проклинал солдат, осыпал их площадной бранью.

Из толпы, размахивая худыми руками, появился Каховский. Его серое, землистое лицо полиловело от мороза. Он вытащил из-за пояса пистолет, почти не целясь выстрелил и сам удивился своей меткости: Стюрлер, точно мешок с песком, тяжело рухнул с лошади.

А между тем, по приказу Николая к Сенатской площади стягивались правительственные войска. Они располагались по определенному плану, окружая восставших.

Было около трех часов дня, а уже начинало смеркаться — короток зимний день. Трубецкой так и не явился на площадь.

Выбрали диктатором Оболенского. Новый диктатор не успел ничего предпринять. На восставших пошел в атаку конногвардейский полк. Пять эскадронов конной гвардии выстроились вдоль Адмиралтейства, от берега Невы по направлению к Исаакиевскому собору.

Против трех тысяч восставших Николай стянул более двадцати тысяч войск. В его распоряжении была артиллерия и кавалерия. Подвезли три тяжелые пушки и установили на углу Сенатской площади.

Восставшие были окружены со всех сторон.

Усилился ветер. Он пробирал до костей, леденил кровь. Целый день простояли солдаты на морозе, голодные, без шинелей.





Атаки царских войск следовали одна за другой. Но вот на мгновение смолкла стрельба, и казалось, оцепенела площадь, скованная морозом и ветром.

Восставшие видели, как полки, стоявшие напротив, расступились, и между ними встала артиллерийская батарея. Тускло освещенные серым мерцанием сумерек пушки обернули к ним разинутый зев.

Первая пушка грянула холостым зарядом. Артиллерист не приложил фитиля к запалу, боялся стрелять по своим. Ругань и угрозы огласили воздух.

Второй залп. Посыпалась картечь, скашивая людей. Солдаты в панике бросились на другой берег, к Академии художеств. Отчаянный крик пролетел над площадью:

— То-о-нем!..

Разбитый ядрами невский лед не выдержал и проломился...

Рылеев понял: все кончено! Пошатываясь, ничего не видя перед собой, он ушел с площади.

— Безначалие... — пересохшими от усталости и жара губами шептал он. — Измена... Гибель...

А с площади доносились шум и крики. Сквозь грохот орудий порой прорывались отчаянно-восторженные крики:

— Конституция! Свобода! Ура!

Рылеев то надеялся на чудо, то снова впадал в отчаяние. Возле казарм Измайловского полка он споткнулся — мертвый солдат лежал поперек тротуара. Кровь растекалась по затоптанному снегу. Рылеев закрыл глаза. С площади снова донеслись пушечные залпы...

Навстречу Рылееву шел один из членов общества. Рылеев остановился и, с трудом подбирая слова, сказал негромко:

— Все кончено! Мы проиграли. Поезжай в Киев и скажи Сергею Муравьеву-Апостолу, всем скажи: Трубецкой изменил!..

— Почему сразу не назначили на площади других начальников?

Рылеев молча посмотрел на товарища. Взгляд был ясным, пустым и до предела усталым. Махнув рукой, он ничего не ответил. Волоча по снегу шинель, тяжело ступая, пошел прочь и через несколько мгновений скрылся в сумеречном тумане...

*

Вечером он сжигал тетради и рукописи. Потом, не раздеваясь, лег на диван и долго лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, ни на что не надеясь, ничего не ожидая.

Громкий, грубый стук потряс парадную дверь. Рылеев взглянул на часы — было около одиннадцати.

— Отоприте! — раздался хриплый бас. — Я действую по приказу государя императора!

Рылеев продолжал лежать. Кто-то открыл дверь.

Полицеймейстер в сопровождении двух солдат вошел в кабинет. Чекая слова, проговорил с порога:

— Государь император приказал доставить к нему живым или мертвым отставного подпоручика Рылеева!

Рылеев медленно поднялся с дивана, обвязал шарфом больное горло, благословил Настеньку, обнял и поцеловал жену.

— Я к вашим услугам! — коротко бросил он жандармам.

Его окружили, связали за спиной руки и повели к карете.

От Синего моста до Зимнего дворца путь недалек, но Рылееву казалось, что едут они бесконечно долго. Он смотрел в окно. На Сенатской и Дворцовой площадях горели костры. Дворец был окружен пушками, на

улицах — пикеты. Конные отряды разъезжали по городу. Снег мятый, рыхлый, затоптанный копытами и сапогами. В красном свете костров было видно, что на снегу чернеют кровавые пятна.

Карета резко остановилась у подъезда Зимнего дворца. Рылеев не двигался. Оцепенение не проходило, в душе не было ни страха, ни раскаяния. Солдаты грубо вытолкнули его из кареты и, не развязывая рук, повели вверх по лестнице. Он послушно шел, машинально считая бесконечные ступени: одна, две, десять... Они вошли в одну из дворцовых зал. Прямо перед Рылеевым возникла жалкая фигурка. Он долго с удивлением всматривался и вдруг впервые за весь вечер ужаснулся: это зеркало, а жалкая фигурка — он сам. Победженный...

Два генерала за гостиными столами что-то сосредоточенно писали. Они даже не подняли глаз на Рылеева. Кто-то вышел из смежной комнаты, сделал знак рукой. Рылеев снова толкнули, и он переступил порог комнаты.

Николай Павлович в парадном мундире, расстегнув шитый золотом воротник, сидел на софе. Горел камин. Французские часы под стеклянным колпаком показывали начало двенадцатого. В зеркале, со множеством тяжелых безделушек на подзеркальнике отражался яркий свет люстры. Сверкающие хрустальные гроздья нестерпимо резали глаза.

Придвинув к софе тонконогий столик, украшенный перламутровыми инкрустациями, Николай Павлович писал пространное письмо своему брату Константину:

«У нас имеется доказательство, что делом руководил некто Рылеев, статский, у которого происходили тайные собрания...»

В этот момент царю доложили о том, что привезли Рылеева, и он приписал:

«В 11^{1/2} вечера. В это мгновение ко мне привели Рылеева. Это поимка из наиболее важных».

Рылеев стоял в дверях, опустив голову. Болели связанные руки.

Николай Павлович, полуобернувшись к нему, медленно спросил:

— Это у тебя на квартире было гнездо заговорщиков?

Рылеев ответил не сразу. А когда услышал свой голос, он показался ему чужим — хриплый и отрывистый.

Царь поднялся во весь рост, глядя на Рылеева бледносерыми глазами. «Глаза медузы», — подумал Рылеев и вспомнил, что люди не выдерживали взгляда Николая, даже в обморок падали. Но он не отвел глаз и лишь тяжело вздохнул.

— Скажи, кто же это взбунтовался? — меняя тон и стараясь говорить как можно мягче, спросил император, снова опускаясь на софу и покачивая ногой в блестящем тупоносом сапоге. — Столоначальники, поручики, повытчики. Ивановы, Семеновы? — презрение звучало в его голосе.

Этот презрительный тон словно горячей волной окатил Рылсева, растопив ледяное оцепенение.

— Нет! — гордо воскликнул он. — Лучшие, умнейшие, передовые люди России! Все сословия были довольны: дворяне, купечество, крестьянство...

Николай прервал его:

— Но для чего было заявлять публичный протест на площади?! Я уже слышал, кто виноват: твои друзья Бестужевы, Сутгоф, Каховский, ты!.. Революцию хотели сделать? А ты всех поджигал! Кровь на тебе! — злое-ще прохрипел Николай. — Видел кровь на площади?

«Кровь на снегу, невинная кровь...» — пронеслось в разгоряченном мозгу Рылеева.

И он ответил задыхаясь:

— Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади, но он не явился! По моему мнению, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые сегодня, в этот несчастный день, случились. Я виноват, что поверил предателю! Виноват! — выкрикнул Рылеев, и слезы потекли по его щекам.

— Какой Трубецкой? — не веря своим ушам, переспросил Николай Павлович. — Князь Сергей Трубецкой? Он тоже член общества? Или никакого общества нет?

— Общество существует! Цель его — добиться конституции.

Николай Павлович побледнел и, откинувшись на софе, долго молчал. Потом заговорил. В голосе его звучало недоумение, обида, забота — император был незаурядным актером.

Рылеев слушал его речь с изумлением и боялся верить в искренность его слов, и не мог не верить — такой она была взволнованной, исполненной сочувствия. А тут еще в бледно-серых царских глазах блеснула предательская слеза.

— Зачем бунт? — говорил император. — Надо было представить мне требования. Я вступаю на престол, имея целью дать России конституцию! Я желаю ряда преобразований. Освобождение крестьян? Конечно! Еще покойный брат Александр Павлович желал этого... Убавить солдатам срок службы? О, да это целая программа?! Я должен знать ее. Ведь речь идет о благе России...

Он говорил и говорил о том, что желает одного — благоденствия родине. А для этого ему, царю, надо знать, чего хочет молодежь. Он не виновных ищет, он желает помочь им оправдаться. Рылеев должен все чистосердечно открыть ему. И прежде всего — не ожидается ли еще бунт? Или мало Рылееву сегодняшней крови?

Рылеев слушал его, потрясенный до глубины души.

Все напряжение, все отчаяние минувшего дня готово было выплеснуться из души его. Так хотелось верить, что существует на свете добро, справедливость, честность. А вдруг новый царь добр, справедлив, честен? Вдруг довершит он то, что не удалось им?

— Возможно что на Юге... — пробормотал Рылеев. — Около Киева в полках существует общество... Трубецкой может пояснить.

В застланных фальшивой слезой глазах Николая мелькнули жестокость, страх. Царь резко встал и подошел к арестованному.

— Не отчаивайся, Рылеев, — проговорил он с дрожью в голосе. — Ведь главный заговорщик ты?

— Я, я! Я один во всем виноват! Прошу пощадить молодых людей, вовлеченных мною в общество... Дух времени — такая сила, перед которой они не могли устоять. Казните меня одного, а их отпустите!

— У тебя чувствительное сердце! — воскликнул Николай и театральным жестом прижал к груди голову Рылеева. Он достал из кармана носовой платок и стер ему слезы. — Не тревожься за своих друзей. Никто не будет обижен, а невинные вернутся домой...

Он задал арестованному еще несколько вопросов и милостиво распорядился:

— Поди поговори подробнее с генералом Толем, он мне доложит...

Рылеев повторил просительно:

— Простите моих друзей, я один виноват, один...

— Забудь их, — размягченным голосом сказал Николай Павлович. — Считаю, что теперь твой единственный друг — это я!

Рылеев с недоверчивой надеждой смотрел на царя. По честности своей натуры он не мог представить, что весь этот разговор — хорошо разыгранный спектакль.

— Никто не будет обижен! — твердо сказал император и сделал знак рукой, давая понять, что разговор окончен.

В соседней комнате Рылееву развязали руки. Расправляя затекшие пальцы, он опустил голову на ладони. Ему дали перо и бумагу.

Он написал первое свое показание.

Допрос был краток. После полуночи Рылеева доставили в Петропавловскую крепость. В записке коменданту крепости Николай Павлович собственноручно написал:

«Присланного Рылеева посадить в Алексеевский рavelин, не связывая рук, без всякого сообщения с другими; дать ему и бумагу для письма, а то, что будет писать ко мне собственноручно, мне присылать ежедневно. Николай».

Рылеева втокнули в камеру № 17. Пахло плесенью и сыростью. Света не было. Только высоко под потолком в окне ярко светила луна, и черные прутья чугунной решетки четко выделялись на белом от падающего снега петербургском небе.

Тяжело зазвенел ключ в замке. Рылеева заперли. Он ощупью нашел жесткую койку и без сил повалился на нее.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ЧЕРНИГОВСКОМ ПОЛКУ

25 декабря 1825 года в доме полковника Густава Ивановича Гебеля был веселый бал.

Утром полк присягал новому императору Николаю Павловичу. Правда, солдаты произносили слова присяги нехотя, а некоторые даже стояли в полном молчании с неподвижными и мрачными лицами. Офицеры открыто высказывали свое негодование, глухой ропот сопровождал каждое слово священника, читавшего текст присяги. И погода была не праздничная — сумрачная, ветреная, с колючим снегом...

— Сколько будет их, этих присяг?! — с неудовольствием спрашивали офицеры друг друга.

— Бог его знает! Ни на что это непохоже... Сегодня присягай одному, завтра другому, а там, может быть, и третьему...

Гебель все это слышал, и сердце его от страха проваливалось в пятки.

Стараясь отогнать мрачные предчувствия, он благостно молился, истово повторял слова присяги, надеясь своим усердием возбудить верноподданнические чувства в солдатах и офицерах.

Но как бы там ни было, присяга прошла благополучно. Полк распустили по квартирам. Офицеры, городские жители и окрестные помещики были приглашены на бал к Гебелю.

Гремит музыка, разносят шампанское. Густав Иванович не ходит, летает по зале. Дамы и кавалеры кружатся в танцах. В зале жарко от множества горящих свечей, все блестит, мерцает, переливается... Даже старики расшевелились, вспоминая молодость. Весело, очень весело!..

Вдруг дверь в залу широко распахнулась. На пороге стояли два жандармских офицера. Они внимательно оглядывали зал, искали кого-то глазами.

Мгновенно погасло веселье. Смолкла музыка, все остановилось, застыло. Прошло несколько безмолвных мгновений, но казалось, что тишина эта длится часы. Один из жандармов решительно направился к Гебелю.

— Вы командир Черниговского полка?

Гебель молча кивнул головой. Его перепуганное лицо стало багровым.

— Имею к вам важные бумаги!

— Прощу в кабинет... — пролепетал Гебель.

Они торжественно прошествовали через залу и по темной дубовой лестнице поднялись на второй этаж, в кабинет Густава Ивановича. Гебель шел, еле передвигая от страха ноги. Споткнувшись о белую медвежью шкуру, устилавшую пол кабинета, он тяжело опустился в кресло.

Жандарм протянул ему пакет. Трясущимися пальцами Гебель взломал сургучные печати, разорвал пакет и прочел:

«По воле государя императора покорнейше прошу, ва-

ше сиятельство, приказать немедленно взять под арест служащего в Черниговском полку подполковника Муравьева-Апостола с принадлежащими ему бумагами так, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под строжайшим присмотром в С.-Петербург прямо к его императорскому величеству...»

Не говоря ни слова, Гебель спустился вниз. Жандармские офицеры неотступно сопровождали его. Снова молча проществовали они через залу.

В прихожей денщик торопливо накинул на Гебеля шинель.

Выйдя на крыльцо, Гебель громко объяснял кучеру, как проехать к дому Сергея Муравьева-Апостола, потом сел в сани, на которых приехали жандармские офицеры, и лошади, фыркнув, взяли с места. Завизжал под полозьями снег, полетела ледяная колючая пыль...

*

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин не мог уснуть в этот вечер. 13 декабря в Тульчине был арестован Пестель. Пока никого из членов Южного общества больше не трогали, но все понимали, что аресты могли начаться каждую минуту. Из Петербурга известий не было...

На днях Бестужев-Рюмин получил письмо из Москвы от отца: скончалась матушка. Мама, мама, как пусто и трудно без тебя на земле...

С Катрин тоже все тревожно. Они давно не виделись, и сейчас, когда он думал о ней, ему начинало казаться, что она стала холоднее к нему, что слабела ее решимость соединить с ним свою судьбу. Верно, правду говорят: с глаз долой, из сердца вон!

Последнее время начальство косо смотрело на его разъ-

езды, и ему не удавалось выбраться в Каменку. Даже в Москву не пустили с отцом повидаться, утешить старика.

Впрочем, в Москву, может быть, еще удастся съездить. Третий день как уехал Сергей Иванович Муравьев-Апостол в Житомир хлопотать об отпуске для Бестужева-Рюмина. Вместе с Сергеем Ивановичем поехал и брат его Матвей Иванович. Михаил Павлович с нетерпением дожидался их возвращения. Какие-то вести привезут они?

Конечно, Бестужев-Рюмин стремился в Москву не только затем, чтобы свидеться с отцом. Дела общества требовали встречи с московскими товарищами по обществу. Пестель арестован. Дальше медлить нельзя, и Муравьев-Апостол предложил немедленно начинать действия, а это значило, во что бы то ни стало надо связаться и с москвичами и с северянами.

Бестужев-Рюмин приглашен сегодня на бал к полковнику Гебелю, но ему странно было представить, что кто-то может веселиться, когда все вокруг так мрачно и тревожно. И, сославшись на то, что недавняя кончина матушки не позволяет ему принимать участия в светских развлечениях, он остался дома.

Михаил Павлович велел постелить себе в кабинете Сергея Ивановича. Лег рано, но сон бежал прочь. Он несколько раз вставал с дивана, ходил по кабинету, оставался у окна, раздвигал шторы. Мутный свет луны проникал в комнату. Он глядел на небо. Оно тоже было тревожным — бежали облака, то закрывая луну, то вновь открывая. Метались под зимним ветром голые ветки деревьев. Тоска...

Он снова ложился. Его то познабливало, то становилось жарко, и он переворачивал подушку, сбрасывал, а потом натягивал до глаз одеяло.

В дверь постучали. Сначала негромко. Решив, что это

ветер треплет ставню, Михаил Павлович не вышел на стук. Но стук повторился настойчивее, слышались громкие голоса. И наконец грубый окрик:

— Немедленно откройте!

Бестужев-Рюмин понял: жандармы. Он вскочил и остановился посреди кабинета, не зная, что предпринять.

«Бумаги, — мелькнула мысль. — Уничтожить бумаги!»

Но он не успел ничего сделать, в комнату вошел Гебель. Его сопровождали два жандарма.

— Огня! — коротко приказал Гебель.

Вспыхнула свеча. Жандармы молча выдвигали ящики письменного стола, открывали книжные шкафы, доставали бумаги, аккуратно складывая их в одну пачку. Несколько раз тщательно обшарив комнату, они все так же молча ушли. Было слышно, как отъехали сани и поехали куда-то. Куда?..

Еще не смолк конский топот и визг полозьев, как в комнату вбежали «славяне» — члены тайного общества. Они были на балу у Гебеля и видели, как жандармы передали приказ. Выйдя вслед за Гебелем на крыльцо, они слышали, как он велел гнать лошадей к дому Сергея Муравьева-Апостола, поняли, что случилась беда, и кинулись предупредить Бестужева-Рюмина. Но не успели, Гебель опередил их.

— Жандармы привезли приказ об аресте Муравьева-Апостола, — наперебой говорили они. — Надо немедленно скакать в Житомир, предупредить!

— Действия, немедленно начинать действия! Нам грозит гибель!

Бестужев-Рюмин быстро собирался.

— Лопиади? — деловито осведомился он.

— Готовы!

Он набросил шинель и выбежал на улицу.

Подъезжая к Житомиру, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы встретили на последней станции офицера, который развозил листы для присяги Николаю. От него узнали они, что в Петербурге был бунт.

— Бунт подавили, зачинщиков свезли в крепость, — коротко сообщал офицер и больше ничего говорить не стал. Да и что он мог сказать больше?

— Общество раскрыто... — побелевшими губами прошептал Матвей Иванович и взглянул на брата.

Сергей ничего не ответил. На его обычно спокойном и мечтательном лице появилось выражение отчаянной решимости.

— И все-таки надо действовать! — четко выговорил он, словно подытоживая ход своих мыслей.

В Житомире их пригласил к себе корпусной командир генерал Рот. За обедом только и разговоров было, что о бунте 14 декабря.

— Жертвы, жертвы... — говорил Рот. — Убит генерал Милорадович. Бунтовщиков свезли в крепость. Среди них князь Трубецкой, поэт Рылеев...

Сергей Иванович слушал спокойно, но выражение решимости не сходило с его лица. Рот и подумать не мог, что разговаривает с одним из вождей тайного общества.

Дождавшись, наконец, окончания обеда, Муравьевы-Апостолы распрощались с Ротом и отправились к своему двоюродному брату Артамону Муравьеву, командиру Ахтырского полка. Артамон Муравьев был одним из старых членов тайного общества.

Естественно, разговор зашел о событиях 14 декабря. Артамон взволнованно ходил по кабинету.

— Что же делать? — громко спросил он, и, словно в ответ на его вопрос, распахнулась дверь, и на пороге

кабинета появился Бестужев-Рюмин. В шинели, без шапки он ерошил рукой вихрастые рыжие волосы и, глядя на Сергея Муравьева-Апостола, говорил задыхаясь:

— Сережа, Сережа... Твои бумаги взяты Гебелем. Он мчится по твоим следам. Тебя приказано арестовать... Сережа!

— Все кончено! — воскликнул Матвей Иванович. — Мы погибли! Нас ожидает страшная участь. Не лучше ли умереть сейчас? Прикажите подать ужин и шампанское, — обратился он к Артамону. — Выпьем и застрелимся...

— Нет! — с необычной для него твердостью сказал Сергей Иванович. — Не для такой смерти мы жили. Я решился! Артамон Захарович, ты поможешь нам? Надо немедленно собрать Ахтырский полк, явиться в Житомир и арестовать всю корпусную квартиру.

Артамон молчал. Не дожидаясь его ответа, Сергей Иванович стал писать записки к «славянам». Дописав, он протянул их Артамону.

— Тотчас отправь с нарочными...

— Я недавно принял полк, — испуганно заговорил Артамон. — Я не знаю ни офицеров, ни солдат. На кого из них можно положиться? Мой полк не готов, решительно не готов! Знаешь, что нужно сделать? — вдруг воодушевившись, воскликнул он. — Я сейчас еду в Петербург и расскажу об обществе государю. Уверен, узнав наши добрые намерения, государь поймет нас...

Он взял из рук Сергея Ивановича записки, поднес их к свече. Бумага ярко вспыхнула, и черный пепел, покрывшись в воздухе, медленно опустился на пол.

— Я жестоко обманулся в тебе, — с горечью сказал Сергей Иванович. — Вот моя последняя просьба: доставь эту записку в восьмую бригаду! — он протянул

ему еще один листок. — А теперь в путь! Я еду в свой полк, ты, Мишель, скачи к артиллеристам. Надо лично уведомить «славян» о начале восстания. Прощай, Артамон!

Дверь закрылась. Артамон сжег на свече и эту записку.

*

Превыше всего в жизни Гебель ставил исполнение воли начальников. Приказ есть приказ. И теперь он стремился к одному: схватить братьев Муравьевых-Апостолов и доставить их к начальству. А они словно сквозь землю провалились! В Житомире Гебель их не застал, в Любарах тоже. Куда они девались?

«Должен же Сергей Муравьев-Апостол вернуться в свой полк? — рассуждал Гебель. — Он командир, не посмеет самовольно бросить полк!»

Полк стоял на Василькове. Значит, надо было скакать в Васильков. И он поскакал.

На рассвете Гебель с жандармами въехал в село Трилеса. Отсюда до Василькова рукой подать. И здесь ему неожиданно посчастливилось. Выяснилось, что Муравьевы-Апостолы прибыли сюда накануне и заночевали в доме поручика Кузьмина.

Гебель действовал решительно. Собрав часть роты, квартировавшей в Трилесах, он окружил дом Кузьмина, а сам тихонько, на цыпочках, вошел в дом.

Сергей Иванович Муравьев-Апостол спокойно спал.

— Где ваш брат?! — громко и грозно спросил Гебель.

Сергей Иванович открыл глаза и, стараясь казаться спокойным, ответил позевывая:

— В соседней комнате...

— Вы арестованы!

— Ну и что же? — все так же равнодушно продолжал Сергей Иванович. — Может, чаю выпьем перед дорогой?

Вчера вечером он отправил записку Кузьмину в Васильков:

«Анастасий Дмитриевич! Я приехал в Трилеса и остановился на вашей квартире. Приезжайте и скажите барону Соловьеву, Щепилле и Сухинову, чтобы они тоже как можно скорее приехали в Трилеса.

Ваш Сергей Муравьев».

Теперь надо было во чтобы то ни стало выиграть время и дожидаться их приезда.

Гебель, конечно, об этой записке не знал и решил, что долг свой он выполнил, преступники в его руках, а потому с отъездом можно не торопиться.

На столе появился медный самовар. Сергей Иванович оделся и уже собрался было сесть к столу, как дверь открылась, и вошли Кузьмин и Сухинов.

— Почему отлучились из роты? — грозно обратился Гебель к Кузьмину и выругался.

Кузьмин, занятый одной мыслью — скорее бы подоспели Щепилла и Соловьев, старался сохранять хладнокровие и ничего не ответил.

Под окнами раздался скрип подъезжавших саней. Кузьмин выскочил на улицу. Они!

— Муравьевы арестованы! Гебель здесь! — крикнул он товарищам.

Щепилла ловко выскочил из повозки и стремительно направился в дом.

Гебель, увидев еще двух офицеров, которым никак не полагалось быть здесь, пришел в ярость.

— По какому праву?! — крикнул он. — Немедленно отправляйтесь к своим ротам!

— Не собираюсь повиноваться вашему приказанию! — твердо ответил Соловьев.

— И я тоже, — поддержал товарища Щепилла.

У Гебеля от гнева перекопился рот. Истошным голосом он потребовал, чтобы офицеры немедленно исполнили его приказание.

Сергей Иванович, до сих пор молча наблюдавший за происходящим, сделал еле заметный знак рукой и негромко произнес:

— Убить его!

За своим криком Гебель не расслышал этих слов. Не заметил он и того, что Кузьмин вышел в соседнюю комнату, отделенную от первой большими проходными сенями.

В сенях толпились солдаты.

— Освободить Сергея Муравьева-Апостола и начать восстание! — отрывисто бросил Кузьмин.

— Ура! — крикнул кто-то. — Мы за Муравьевым в огонь и в воду.

Гебель выбежал из комнаты в караульную узнать, готовы ли лошади. «Ничего, голубчики, вы у меня еще заплатите за все беззаконья!» — мысленно грозился он.

Пробегая через двор, Гебель увидел Щепиллу и Кузьмина. Забыв про лошадей, он обрушил на их головы новый поток проклятий.

Щепилла размахнулся и сильно ударил Гебеля штыком.

Но едва офицеры отошли, Гебель поднялся и, держась рукой за рану, стал осторожно пробираться к дороге. Мимо проезжала крестьянская подвода. Гебель остановил ее.

— Вези, — прошептал он. — В Васильков, в дом полкового командира... — и потерял сознание.

Они счастливы. Пятый день дышат воздухом свободы. Что ждет их впереди? Вероятно, гибель... Но ради этих дней стоило прожить жизнь.

Почему гибель? Ведь пока все идет прекрасно.

Вывавшись из-под ареста, Сергей Муравьев-Апостол собрал солдат и занял город Васильков. Солдаты подчинялись ему беспрекословно. Были захвачены полковые знамена и полковая казна.

Дальнейший план таков: идти на Житомир, захватить штаб полка, соединиться с другими полками, а там на Белую Церковь, где их должны поддержать казаки, потом на Киев, на Москву... То, что не удалось северянам, должно удался здесь. Поднимется вся Россия!..

Да будет свободен русский народ!

Муравьев-Апостол понимал всю сложность обстановки, трудность своего положения и все-таки был счастлив.

Особенно запомнился вчерашний день. Первый день нового, 1826 года. Накануне полк вступил в село Мотовиловку. Здесь уже были собраны Первая гренадерская рота и часть Первой мушкетерской.

В начале нового года назначили дневку. Ротные командиры хлопотали о продовольствии, о теплой одежде для солдат.

Сергей Иванович сам объезжал караулы. После праздничного молебствия возвращался из церкви народ. Увидев Сергея Муравьева-Апостола, крестьяне окружили его, поздравляли с Новым годом, желали счастья.

Из толпы вышел седобородый старик и, поклонившись в пояс, сказал негромко:

— Да поможет тебе бог, наш полковник, избавитель наш...

Счастливые горячие слезы выступили на глазах Муравьева-Апостола.

— Друзья мои, — негромко проговорил он, стараясь скрыть радостное волнение. — За малейшее облегчение для вас готов умереть... Солдаты и офицеры наши за ваше благо жизни своей не пощадят. Никакой награды нам не надобно, кроме любви и счастья вашего...

— Пошли и тебе бог счастья, батюшка ты наш... — повторил старик крестьянин.

Люди с удивлением и благодарностью глядели на этого красивого молодого человека с решительным и мечтательным лицом. Глядели и не понимали: откуда такой взялся? Ни богатства, ни жизни своей не жалеет. Поднялся против царя не за свою выгоду, а ради их мужицкого счастья. И войска за собой повел. В знак благодарности они радушно принимали солдат, кормили и поили их, дарили теплые вещи.

— Не постояльцы вы — защитники наши... — говорили крестьяне.

*

Ночь спустилась на селение Полог. Темная снежная зимняя ночь. Спали в избах солдаты. Настороженная тишина спеленала и убаюкала село.

В комнате Муравьева-Апостола пусто, пол заслежен. Оплывая, горела свеча в низком железном подсвечнике. Сергей Иванович сидел, набросив на плечи шинель, пожевываясь от холода, и глядел в разгоряченное, взволнованное лицо Михаила Павловича.

— Я пройду по земле, всегда одинокий, задумчивый, и никто меня не узнает... — негромко прочел он по-французски свои стихи. — Только в конце жизни блеснет над нею свет великий, и тогда люди увидят, что они потеряли...

Он глубже закутался в шинель.

— Ты что-то мрачен, Сережа? — ласково и заботливо

спросил Вестужев-Рюмин. — Почему? Погляди, как эти дни все хорошо было!

— Да, мой друг, я был счастлив, — тихо ответил Муравьев-Апостол. — Но ведь ты сам знаешь: сегодня несколько офицеров тайком покинули нас. Крысы бегут с корабля... — Он не договорил.

— Не надо, — Бестужев-Рюмин взял его за руку. — Мы добро людям несем. Победит наша правда!

— Конечно, победит! Но увидим ли мы ее победу? — Муравьев-Апостол быстро поднялся. — Что это со мной? — дернув плечом, словно сбрасывая с себя что-то, сказал он. — Итак, завтра в поход! Ровно в четыре утра. Надо поспать хоть немного...

— Если возмущение не удастся, надобно скрыться в лесах, пробраться в Петербург и убить царя! — решительно проговорил Бестужев-Рюмин, и глаза его стали отчаянными и отважными.

Сергей Иванович крепко обнял друга. Чувство ответственности за него в который раз укололо совесть Муравьева-Апостола.

«Имел ли я право? Впрочем, что теперь об этом?.. Все позади!» — остановил он себя.

— Спокойной ночи, друг мой. Да пошлет нам судьба удачи!

— Спокойной ночи, Сережа...

*

Ровно в четыре утра Черниговский полк выступил из Полог и к одиннадцати вступил в деревню Ковалевку. Полк остановился на площади возле управительского дома.

— Час на роздых! — скомандовал Муравьев-Апостол. Управитель радушно встретил солдат. Их развели по

избам. Сергею Муравьеву-Апостолу управитель выдал под квитанцию хлеб и водку для нижних чинов. Офицеров же пригласил к себе на обед.

Сергей Иванович ел торопливо, и Бестужев-Рюмин, взглядывая на него, понимал, что тот озабочен. Впрочем, это было не мудрено, забот хватало.

Быстро покончив с едой, Сергей Иванович поднялся из-за стола и попросил Бестужева-Рюмина пройти с ним в соседнюю комнату.

Они остались вдвоем. Топилась печка, легкий, приятный жар исходил от белой кафельной стенки.

— Мишель, — сказал Сергей Иванович. — Дай мне портфель с бумагами, тот, что я у Гебеля отобрал. Надо пересмотреть бумаги. Как обернется наше дело, никто не знает, нельзя, чтобы лишние имена стали известны кому не следует...

Голос его был тверд, большие темно-серые глаза спокойно и ласково глядели на Бестужева-Рюмина. Михаил Павлович подал ему портфель.

Сергей Иванович длинными белыми пальцами быстро перебирал пачки бумаг и писем, передавал Бестужеву-Рюмину, который бросал их в огонь. Бумаги мгновенно сворачивались и вспыхивали рыжевато-синим огнем.

Почти все сжег Муравьев-Апостол. Только некоторые пощадил — письма от брата Матвея, от сестер, от отца. Каждое письмо вызывало в его памяти родные лица. Всплывали воспоминания. Мелькало детство, проведенное в Мадриде и Гамбурге, учение в парижской школе, припомнилось возвращение в Россию, когда, подъезжая к русской границе, Сергей и Матвей, увидев пограничника, выскочили из коляски и бросились его обнимать и мать, грустно глядя на сыновей, сказала:

— Я счастлива, что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине! Но готовьтесь,

дети, я должна сообщить вам ужасную вещь: вы увидите то, чего не знаете, в России вы найдете крестьян-рабов...

И не эти ли материнские слова привели его сюда, в село Ковалевку? Куда дальше поведут они его?..

— Пора! — решительно сказал Сергей Иванович. — Пора, друг мой!

Чугунная печная дверца тяжело захлопнулась, и в трубе загудело.

*

Три дороги лежали перед Черниговским полком. Дороги влево и вправо шли через деревни, третья проложена прямо через степь.

«Как в русских сказках, — подумал Сергей Муравьев-Апостол. — Направо пойдешь — гибель найдешь, налево пойдешь... А мы пойдем прямо, через степь! Для сокращения пути».

Он построил взводы, сомкнул полк в густую колонну, и полк двинулся в поход.

День был морозный и серый. По степи летел колючий ветер, он дул в спины, словно подгоняя солдат.

Не прошли и четверти версты, как впереди раздался пушечный выстрел. Еще и еще...

Сергей Муравьев-Апостол вгляделся и увидел сквозь крутящийся снег направленные на них орудия. Орудия прикрывал гусарский Ахтырский полк.

Еще выстрел! Но почему снаряды не причиняют колонне никакого вреда? Может, стреляют холостыми? А вдруг Артамон Муравьев опомнился и привел на подмогу своих гусар?..

— Осмотреть ружья и приготовиться к бою! — скомандовал Сергей Муравьев-Апостол.

Снова грянул залп. Рядом с Сергеем Муравьевым-



Апостолом упало несколько человек. Он снова скомандовал, но грохот выстрела заглушил его слова.

Сергей Иванович остановился оглушенный. Провел ладонью по лицу — кровь. Все поплыло, закачалось перед глазами. Откуда-то, очень издалека, донеслись слова «ранен в голову».

«Кажется, обо мне... — как в тумане мелькнула мысль. — А где Матвей? Где брат мой?»

— Где брат мой? — громко спросил он, с трудом собираемая, где он, что происходит вокруг.

В рядах началось замешательство.

— Сергей Муравьев ранен!..

Эти слова услышал Бестужев-Рюмин. Позабыв обо всем на свете, он кинулся к другу. Михаил Павлович бежал сквозь ряды, и солдаты, не слыша команды, растерянно переглядывались, опускали ружья, разбредались...

Бестужев-Рюмин увидел Сергея Муравьева-Апостола издали одного, бредущего куда-то медленными, нетвердыми шагами. Яркая кровь струилась по его бледному лицу.

— Сережа! — отчаянно крикнул Бестужев-Рюмин.

Он подбежал к нему, обнял, стал отирать платком кровь с его лица. От горя и отчаяния не мог ничего говорить и только повторял беспомощно:

— Сережа, Сережа...

Сергей Иванович глядел куда-то вперед невидящими пустыми глазами.

Гусары окружили офицеров и отобрали оружие.

Черниговский полк сдался.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

КОНЕЦ

А в тот самый день, когда тяжело раненного Сергея Муравьева-Апостола, брата его Матвея и Михаила Павловича Бестужева-Рюмина схватили гусары и заперли в трилесской корчме, Павла Ивановича Пестеля привезли в Петербург и подвергли первому допросу.

Допрашивал сам царь. Он требовал откровенности. Уговаривал, льстил, просил. Потом начинал кричать, угрожать...

Пестель держался с достоинством. Убежденность в собственной правоте сквозила в каждом его слове.

«Злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния. Редко найдется подобный изверг!» — мысленно бесновался царь.

Генерал Левашов записывал ответы Пестеля. Взглянув на допросный лист, Павел Иванович увидел на нем

номер 100. Это означало, что до него было допрошено девяносто девять человек. Значит, правительству многое известно. Запираться бессмысленно. В Тульчине на допросах он полностью отрицал свою принадлежность к обществу. Но там он был первым.

— Имена! — раздался грозный окрик Николая.

— Я имею чрезвычайно дурную память, — спокойно отвечал Пестель. — Мне не всегда удастся припомнить имена, да и за точность их я не ручаюсь.

«Злодей!» — снова мысленно выругался царь.

Он подошел к столу и обмакнул перо в тяжелую хрустальную чернильницу.

«Пестеля поместить в Алексеевский рavelин, выведя для того Каховского или другого из менее важных...» — быстро написал он коменданту Петропавловской крепости.

Потекли мучительные дни. По несколько раз в день допросы, очные ставки с товарищами.

Так прошли январь, февраль, март...

Когда же будет этому конец? Что ждет его? Свобода? Смерть? Ему становилось страшно при мысли о судьбе отечества. Кто довершит их дело? Надо постараться спасти жизнь ради того, чтобы продолжать борьбу. Как спасти? Николай обещал: откровенность и раскаяние — вот путь к спасению.

Павел Иванович написал три покаянных письма. В них рассказывал о деятельности Южного общества. Умалчивал лишь о том, где спрятана «Русская правда».

Забота о судьбе конституции не давала ему покоя. Чем дальше шло следствие, тем становилось очевиднее, что надежды на спасение нет. Так имеет ли он право и дальше утаивать местонахождение «Русской правды»? Вполне вероятно, что Николай, ознакомившись с «Рус-

ской правдой», велит уничтожить ее, чтобы навсегда стереть с лица земли крамольные дерзновения. А вдруг не уничтожит? Тогда останется «Русская правда» лежать в архивах. И кто знает, может быть, через много лет прочтет ее человек, у которого вызовет она не ужас и гнев, а благодарность? А вдруг она поможет тем, кто захочет продолжить их дело?

Эти мысли не давали покоя, заставляя ворочаться без сна на жесткой тюремной койке.

С кем посоветоваться?

Друзья рядом, но каменные стены разделяют их, и не пробиться сквозь холодный безмолвный камень.

«Бедные старики,— с тоской думал Павел Иванович о родителях.— Что станет с ними? Стары, бедны. Как переживут они такое горе? Матушка с надеждой смотрела на меня, верила, что именно я смогу составить счастье и благополучие семьи. Я обманул их надежды!»

Павел Иванович крепко держался руками за деревянный топчан, заставляя себя лежать. Подушка пахла плесенью. Луна заглянула в окно, и тень решетки упала на каменный пол.

«Как объяснить старикам,— спрашивал он себя в отчаянии,— что настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно люблю мое отечество! Я желал ему счастья, я искал этого счастья в замыслах, которые и побудили меня нарушить мое призвание. Поймете ли вы меня?..» — мысленно обращался он к отцу и матери.

Дни продолжали идти размеренные, горькие, словно каша с прогорклым маслом, которой их кормили каждый день. От гнилых щей тошнило. Он почти ничего не ел, слабея с каждым днем. Изменить в ходе следствия он уже ничего не мог.

Значит, нужно было ждать.

А «Русская правда»? Если она не будет найдена, есть надежда остаться в живых: ведь его арестовали 13 декабря, и он не был участником восстания.

Так неужели молчать?

*

Пока Пестель мучался сомнениями — открыть или не открыть царю местонахождение «Русской правды», один из молодых членов Южного общества, прапорщик Заикин, показал на следствии, что ему известно, где зарыта «Русская правда».

Следственная комиссия решила отправить Заикина на Юг.

Был яркий январский морозный день. Закованного в кандалы Заикина вывели из каземата Петропавловской крепости. Через три дня Заикин вместе с сопровождавшим его ротмистром Слепцовым и несколькими рабочими уже бродили в окрестностях деревни Кирнасовки. Впервые за много недель с Заикина сняли кандалы, но даже это не могло развеять его мрачного настроения.

«Русскую правду» зарывал не он, а его брат. Он только понаслышке знал, где она зарыта, и теперь боялся: а вдруг не найдет?!

— Канава... Здесь должна быть канава, — бледными губами шептал перепуганный Заикин.

Наконец канаву нашли, прошагали по ней метров двести.

— Где же? — насмешливо спросил Слепцов. Он давно подозревал, что арестант врет, просто хочет протянуть время.

— Ройте здесь! — дрожащей рукой указал Заикин. Звенел под лопатами мерзлый снег. Обнажился нетронутый дерн.

— Непохоже, что здесь недавно рыли... — в сомнении покачал головой Слепцов.

— Может, повыше немного... — пробормотал Заикин. Прошли еще метров триста. Снова рыли и снова ничего не нашли. В третий раз тоже.

— Какого черта вы обманывали комитет и самого государя императора?! — взревел Слепцов.

Заикин побледнел как полотно и, схватив Слепцова за руку, отвел его в сторону.

— Что еще там? — презрительно буркнул Слепцов.

— Я никогда не имел доверенности от тайного общества, — трусливо шептал Заикин. — У меня эти бумаги находились только для передачи. Я знал это место лишь по рассказам. Но здесь, в Пермском полку, служит мой брат. Разрешите свидеться с ним, он все знает!

— Пишите все, что вы сейчас рассказали, — строго сказал Слепцов. — А мы сами разберемся.

— Но ведь вы слово дали! — с горечью воскликнул Заикин. — А требуете письменного объяснения...

— Ах да! — криво усмехнулся Слепов. — Слово... Ну хорошо, пишите брату записку. Как будто из Петербурга. Пусть укажет место.

Заикина отвели в одну из кирнасовских хат. Там написал он брату торопливую записку.

Оставив Заикина под присмотром жандармов, Слепцов поехал с запиской в Тульчин.

Семнадцатилетний прапорщик Заикин, получив записку от брата, тотчас отправился вместе со Слеповым и указал место, где была зарыта «Русская правда».

Снова зазвенели лопаты, слой за слоем снимая мерзлую твердую землю. Глубже, глубже... Одна из лопат ткнулась во что-то мягкое, показался кусок клеенки.

— Она?

Заикин молча кивнул головой.

А через несколько дней «Русская правда» лежала на столе перед очами самого императора России...

*

Сергей Иванович Муравьев-Апостол был спокоен. За годы войны привык встречаться со смертью ежедневно и теперь равнодушно ожидал ее прихода. Пугало одно — гибель его принесет страдания близким. А больше всего на свете он боялся причинять людям горе.

На допросах он держался спокойно, подробно отвечал на вопросы, и показания его напоминали связный, обдуманный рассказ. Он ни от чего не отказывался, ничего не отрицал, старался лишь об одном — всю вину принять на себя.

Мучительны были очные ставки. Особенно с Бестужевым-Рюминым. Увидев Мишеля в грязном простреленном мундире, исхудавшего, бледного, отчего ярче выступили на лице рыжеватые веснушки, Сергей Иванович едва удержался от слез. Бестужев-Рюмин смотрел на него доверчивыми детскими глазами, и под этим взглядом он снова почувствовал себя виноватым. Недослушав обращенных к нему вопросов, Сергей Муравьев-Апостол сказал, что заранее подтверждает все показания Михаила Павловича Бестужева-Рюмина.

В камеру возвращался измученный, ослабевший. Рана заживала медленно, болела, гноилась.

Порой Сергей Иванович забывался, и тогда снился ему один и тот же сон: круглый стол в родном Хомутце, желтое пятно света от большой висящей лампы, а за столом милые лица сестер, маленького брата Васеньки, отца...

После второй женитьбы отца у мачехи со старшими детьми от первого брака начались нелады. Единственный,

кто всегда улаживал конфликты, был Сергей Иванович. Потому в дни его приездов в доме царил мир и тишина. Даже своенравный Иван Матвеевич притихал и не мучил жену и детей капризами и притеснениями. Мягкий, добрый, Сергей всегда был любимцем отца. В его присутствии старик и сам добрел, словно подчиняясь мягко-сердечию сына.

Однажды утром Сергею Ивановичу объявили, что решено свидание с отцом. А через несколько часов за ним пришли, сняли кандалы и с завязанными глазами повели куда-то через бесконечный крепостной двор. Вошли в небольшую комнату в комендантском доме. Сняли с глаз повязку, и Сергей Иванович увидел отца. Тот рванулся к нему, но тут же отступил не то в испуге, не то не узнавая.

Да и трудно было узнать в этом оборванном человеке, заросшем густой бородой, в которой явственно пробивалась проседь, всегда подтянутого, блестящего тридцатилетнего офицера.

Иван Матвеевич закрыл глаза, с трудом удерживаясь на ногах.

— Сын мой... — только и смог тихо выговорить он и шагнул к нему.

Сергей Иванович молча и грустно смотрел на отца.

— Мне велено срочно выехать за границу, — быстро заговорил Иван Матвеевич, не утирая слез, струившихся по лицу. — Я испросил позволения повидаться с вами... Сейчас тут Матвей был, утешал меня скорым свиданием на воле. Зачем ты, как брат твой, не написал мне, чтобы прислать все, что нужно? В каком ужасном положении я вижу тебя, мой друг... — продолжал он, весь дрожа.

Сергей Иванович виновато оглядел свой грязный с пятнами крови мундир и, проведя рукой по высокому

лбу, где еще краснел темный рубец от раны, негромко сказал:

— Этого платья на мою жизнь хватит.

Иван Матвеевич закрыл лицо руками и, не сдержавшись, зарыдал в голос.

Ему вдруг вспомнилось, как писал он другу своему Державину: «Выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию...» Нет, не о такой смерти за отечество думал он тогда.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ КАЗНЬ

«Царское село, 10 июля 1826 г.

Ужасный день наступил, дорогая матушка, и, исполняя Ваше приказание, я спешу сообщить Вам о нем. Я получил сегодня утром доклад Верховного суда, он был хорошо составлен и дал мне возможность воспользоваться моим правом убавить немного степень наказания, за исключением пяти лиц. Я отстраняю от себя всякий смертный приговор и участь этих пяти, наиболее презренных, предоставляю решению суда. Эти пятеро: Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. 24 человека взамен смертной казни приговорены к пожизненным каторжным работам, в их числе Трубецкой, Оболенский, Щепин-Ростовский и им подобные...

Решение мое будет объявлено суду завтра, осужден-

ным — послезавтра, в понедельник, во вторник утром состоится казнь...»

Царь был доволен. Обещал матушке, что крови пролито не будет, и сдержал слово. Отдал распоряжение председателю суда: «Не согласен не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, ни на расстреляние, как казнь одним воинским преступлениям свойственную, но даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную».

Из этого было ясно, какой род смерти избрал царь для осужденных — повешение.

Суд исполнил волю нового царя.

*

В большом зале комендантского дома был поставлен «покоем» огромный стол, покрытый красным сукном. За ним — члены суда, сенаторы, митрополиты и чиновники высших рангов. Мест за столом всем не хватило, и многие уселись позади, в глубине комнаты. Сквозь наглухо закрытые окна светило полуденное солнце. Июльская жара была нестерпимой.

Блестели лысины, сверкали на мундирах звезды. Струился пот по красным, разгоряченным лицам. Глаза у всех были вороватые и заискивающие — угождали царю, страшились осужденных.

Дверь открылась, и в зал вошла тишина. Напряженная, злоедающая. Ввели пятерых. Поставленных судом вне разряда, обреченных на смерть. Ввели под усиленной охраной. Вот они, злодеи, посягнувшие на устои Российской империи. Раскаялись ли? Боятся?

Они стояли спокойные, прямо и открыто глядя перед собой. Лица измучены и бледны от多月есячного заточения, но даже страдание и бледность не могли скрыть

их молодости. Самому старшему из них Павлу Ивановичу Пестелю едва минуло 33 года!

А там, за столом, старики, увешанные наградами, убеленные сединами, оплывающие жиром, как догорающие свечи. Казалось, две России встретились на рубеже этого красного как кровь стола.

Осужденные не смотрели на тех, кто сидел перед ними. Они радовались, что наконец-то видят друг друга.

Бестужев-Рюмин постарался встать поближе к Сергею Муравьеву-Апостолу и одними губами, так что никто не заметил, шепнул:

— Об одном мечтаю, Сережа, если каторга, то рядом с тобой!

Рылеев что-то говорил Пестелю.

Только Каховский стоял один. Всегда один. За время следствия никто не навестил его, никто не поинтересовался его судьбой. Всю жизнь мечтал он о дружбе истинной, но судьба так и не послала ему настоящих друзей. Он был доверчив, а люди обманывали его. И царь обманул. Долго и доверительно разговаривал, уверял, что заботится лишь о том, чтобы Россия избавилась наконец от зол и бедствий. Обещал исполнить мечты и облагодетельствовать страну.

«Я сам есть первый гражданин отечества!»—сказал он.

Каховский поверил. В камере — шесть шагов в ширину и восемь в длину — писал он на деревянном столике письма царю. Писал о том, что страна стонет и ропщет под бременем налогов. Писал о воровстве и взяточничестве, о страданиях крестьян и солдат. Взывал к царской совести:

«Можно ли допустить человеку, нам всем подобному, вертеть по своему произволу участью пятидесяти миллионов людей! Где, укажите мне страну, откройте историю,

где, когда были счастливы народы под властью самодержавного закона, без прав, без собственности...»

Царь обещал...

Вот чем обернулись все его обещания!

Чиновник с напояженными черными волосами читал медленно и раздельно:

«Роспись.

Государственным преступникам Верховным Уголовным Судом осужденным к разным казням и наказаниям.

Раздел первый.

Государственные преступники, осужденные к смертной казни четвертованием».

«Четвертованием?» — удивленно подумал Каховский, как будто это к нему не имело никакого отношения, и стал думать совсем о другом... Знойный августовский день на Смоленщине, цокот копыт, зеленые ветви, бегущие навстречу, блестящие под солнцем, каштановые локоны Софи... Он закрыл глаза и перестал слушать.

А голос чиновника продолжал неумолимо и твердо:

«Подпоручик Рылеев — умышляя на цареубийство, назначал к совершению оного лица, умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуготовлял к тому средства, усилил деятельность Северного общества, управлял оным, приуготовлял способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинить манифест о разрушении правительства, сам сочинял и распространял возмутительные стихи и песни, принимал членов, приуготовлял главные средства к мятежу и начальствовал в оных, возбуждая к мятежу нижних чинов через их начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь».

Потом читали приговоры Каховскому, Пестелю, Сергею Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину.

«— Соображаясь с высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленном, смягчением казней и наказаний прочим преступникам определенным, Верховный Уголовный Суд по высочайше представленной ему власти приговорил: вместо мучительной казни четвертованием... сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить...»

— Повесить! Кажется, в боях мы никогда не отворачивались от пуль и не страшились смерти, — раздался негромкий, спокойный голос Пестеля. — Почему не расстрелять?

*

Их отвели на Кронверкскую куртину и посадили в камеры. Сергей Иванович Муравьев-Апостол оказался в одной камере с Бестужевым-Рюминым.

— Сережа, неужели смерть?! Но ведь священник Мысловский обещал, что казни не будет, что приговор для острастки?

Сергей Иванович молчал.

— Мы так молоды! — продолжал Бестужев-Рюмин. — Неужели мы никогда не увидим травы, первого снега? Как же Катрин без меня? Я жить хочу! Я не хочу умирать! Мы еще так много можем сделать! И за что, Сережа?.. — крупные слезы катились по его впалым щекам.

— Не надо! — ровным голосом проговорил Сергей Иванович. — Нельзя предаваться отчаянию. Мы должны встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой.

— Но я люблю жизнь!

— Мы умираем как мученики за правое дело России, измученной деспотизмом. Мне нечем утешить тебя. Да,

мы молоды! Но разве важно, сколько лет прожил ты на земле? Главное, как ты их прожил...

Бестужев-Рюмин всхлипнул совсем по-детски.

— Потомство вынесет нам справедливый приговор... — помолчав, сказал Сергей Муравьев-Апостол.

Что-то сказал за перегородкой Пестель, но голос его был слаб, и Сергей Муравьев-Апостол не разобрал слов, только понял, просит поклониться старику отцу.

По коридору ходили люди, разговаривали — там продолжалась жизнь.

На плацу срочно сооружали эшафот. Он был изготовлен заранее, и его везли к месту казни на шести возах. Но один из возов по дороге отстал, самый главный, на котором находилась перекладина с железными коньками. Пришлось делать новый брус и кольца. Стучали топоры, визжали пилы...

В восемь вечера осужденным принесли саваны и цепи. Печальный звон прошел по камере. И снова все смолкло. Солдаты, находившиеся в камерах, плакали.

Бестужев-Рюмин снял с шеи образок, которым благоговела его матушка. Он взглянул на образ, вспомнил тихую предгрозовую ночь на Украине, возбужденные голоса, клятву не пожалеть жизни за Россию. Вспомнил, с каким благоговением целовали этот образ. Не защитил он их от гибели.

Михаил Павлович подозвал старого солдата:

— Если сможешь, дружок, передай сестре... — сдавленным голосом шепнул он и протянул ему образок.

— Отдам, батюшка, отдам, голубчик... — тихо всхлипнул старик и провел корявой ладонью по вихрастым рыжим волосам Бестужева-Рюмина.

Рылееву разрешили написать жене. Он взял лист

бумаги и задумался. Вспомнил последнее свидание в тюрьме, когда Наташа пришла к нему несчастная, бледная. Она привела с собой Настеньку. Та не понимала, что происходит, радовалась, что видит отца, была весела.

«...Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертью позорной...» — начал писать он. Просил прощения, утешал, тревожился за судьбу Настеньки:

«...Она будет счастлива, несмотря на все превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, осчастливила меня в продолжении восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами? Они не могут выразить всех чувств моих. Бог тебя наградит за все... Да будет его святая воля!

Твой истинный друг

К. Рылеев.

У меня осталось здесь пятьсот тридцать рублей. Может быть, отдадут тебе».

На рассвете в камеру вошли плац-майор и сторож. Объявили, что через полчаса надо идти. Рылеев, дописывая письмо, второпях посадил кляксу. Ему надели кандалы. Он смотрел на все равнодушно. Потом съел кусок булки, запил водой.

— Я готов! — сказал он.

Отворились двери казематов:

— Пожалуйте, господа!

У всех пятерых были скованы руки и ноги. Шли медленно, маленькими шажками.

Встретившись в коридоре, осужденные расцеловались.

Громко, протяжным голосом Рылеев сказал, обращаясь к запертым камерам:

— Простите, простите, братья!..

Медленно, мерно, все затихая, прозвенели по коридору цепи.

Взвод гренадеров с примкнутыми штыками окружил пятерых.

Каховский шел впереди один, за ним Муравьев-Апостол с Бестужевым-Рюминым, потом Пестель и Рылеев.

Солдаты, что вели осужденных, дрожали. Казалось, это их должны сейчас казнить, а не этих пятерых...

Осужденных вывели на голый пустырь.

— Подождите, братцы, — негромко сказал один из солдат.

Гремя кандалами, они с трудом опустились на траву.

Плыла над Петербургом белая короткая ночь. Их последняя ночь.

Они тихо переговаривались.

— Встать!

Загремели барабаны. Шли медленно, в белых саванах с черными кусками сукна на груди, на которых написаны фамилии, а внизу: «Злодей. Цареубийца».

На Кронверке лихо играл оркестр Павловского полка. Исполняли вальсы, польки, марши...

Священник Мысловский, сопровождавший осужденных, все время беспокойно оглядывался.

— Чего вы ждете? — спросил Рылеев.

— Гонца с помилованием!

Рылеев пожал плечами и сказал:

— Положите мне руку на сердце, батюшка: бьется ли оно сильнее прежнего?

Полицмейстер еще раз громко зачитал приговор.

Обратясь к товарищам, Рылеев отчетливо и спокойно пожелал благоденствия России.

Все пятеро поцеловались, поворачиваясь друг к другу так, чтобы пожать связанные руки.



Первым взошел на эшафот Пестель.

Их поставили на скамейку в полуаршине друг от друга.

Палач надел на головы мешки.

— К чему это? — с негодованием спросил Муравьев-Апостол.

Накинув на шеи веревки, палач сошел с помоста.

В ту же минуту дощатый пол задрожал, провалился. Вережки натянулись.

И вдруг трое — Сергей Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский — сорвавшись, упали. Вережки не выдержали тяжести кандалов.

Мешок свалился с лица Рылеева. Он сидел в яме, скорчившись от боли, и гневно крикнул:

— Черт знает что! Повесить в России и то не умеют!

Глухой ропот пробежал по толпе, зашептались солдаты:

— Видно, бог не хочет их казни!

— Вешайте скорее! — визгливо крикнул генерал.

Оркестр играл стремительный марш.

Тела казненных положили в грубо сколоченные ящики и увезли на остров Голодай, где зарыли всех в одной могиле...

ЭПИЛОГ

(От автора)

Приехать в незнакомый город, выйти на улицу, название которой тебе не известно, брести не зная куда, сворачивая из переулка в переулок, разглядывать дома, заходить во дворы, сидеть на бульварах и сиверах, наблюдая прохожих, — есть ли на свете что-нибудь увлекательнее?

Идешь по городу, и сведения, полученные на уроках истории и географии, обретают плоть и кровь. Кажется, что город разговаривает с тобой, рассказывает свою трудную многовековую историю.

Была вторая половина дня, когда, отдохнув после шестичасового перелета, я вышла на иркутские улицы.

Позади остался центр, витрины магазинов и фотографий, рекламы кинотеатров. На опустевшем базаре щелкала под ногами шелуха кедровых орехов, редкие продавцы еще торговали за прилавками черемухой и брусникой.

Я шла и шла, переулки засасывали. Дома в этой части Иркутска крепкие, рубленые, с большими окнами и разноцветными ставнями, украшенные искусной деревянной резьбой.

И вдруг... Синяя эмалевая табличка: переулок Волконского! От волнения не знаю, куда идти, останавливаюсь, оглядываюсь. Белая заброшенная церковь, пыльный безлистый скверик. Где же?... А вот! Чугунная мемориальная доска: «В этом доме жил декабрист Сергей Волконский». И сразу незнакомый город становится родным.

Вот по этому выщербленному крыльцу поднимался седовласый старик, князь, генерал, принадлежавший когда-то к высшей петербургской знати...

Пятерых декабристов Николай казнил. Сто двадцать были лишены всего — семьи, чинов, богатства — и сосланы в Сибирь: одни в каторгу, другие на поселение.

Могила казненных была сровнена с землей, и никто не имел права знать, где она находится.

Ссылных держали в самых глухих медвежьих углах России, чтобы их крамольные идеи не будоражили умы.

Но правду сровнять с землей нельзя. И заковать в кандалы нельзя. Твердой поступью идет она по миру и рано или поздно торжествует победу.

После казни декабристов Николай короновался в Москве на царство. В церквах служили очистительный молебен в благодарность за победу над мятежниками.

В толпе, заполнившей Кремль, находился четырнадцатилетний мальчик. Его детское сердце гулко колотилось от любви к погибшим и от ненависти к царю. Сжав кулаки, со слезами на глазах клялся он посвятить свою жизнь борьбе с царем, с его троном, оскверненным кровавой молитвой, с его пушками, расстрелявшими декабристов.

Мальчика звали Александр Герцен.

Он выполнил свою клятву. На обложке альманаха, который Герцен стал издавать в Лондоне в первой вольной русской типографии, были впервые напечатаны портреты пяти казненных — Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. И назывался альманах так же, как называли свой альманах Рылеев и Александр Бестужев: «Полярная звезда».

Владимир Ильич Ленин писал: «...их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».

В Сибири до сих пор с благоговением и благодарностью про-

износят имена декабристов. Не случайно декабрист М. С. Лунин говорил: «Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому мы себя посвятили».

Поселившись в Сибири, декабристы учили крестьян грамоте, лечили детей, помогали нуждающимся. В ссылке писали они статьи и воспоминания, осмысливая историю декабристского движения, стараясь предостеречь будущие поколения от тех ошибок, которые совершили они. До конца жизни думали они о будущем родины.

Не многим суждено было дожить до амнистии и вернуться домой. Амнистия вышла лишь после смерти Николая I, через тридцать лет. Много могил разбросано по суровой сибирской земле. В них покоятся декабристы и их жены, верные русские женщины, разделившие участь своих мужей. Но имена их живы. Рассказы о декабристах бережно передаются из поколения в поколение.

...Долго стояла я возле дома Сергея Волконского. Незнакомый человек, заинтересовавшись, почему я так долго не ухожу, подошел ко мне. Мы разговорились.

— Кто только не бывал в этом доме, открытом и гостеприимном, — рассказывал незнакомец. — Здесь велись страстные споры об искусстве, философии и, конечно, политике... Здесь можно было прочесть заветные книжки герценовской «Полярной звезды», полученные из Лондона. Здесь не кичились дворянским происхождением. Иркутская знать бывала шокирована, когда, проходя по воскресеньям от обедни мимо базара, видела, как князь Волконский, примостившись на облучке мужицкой телеги, вел разговор с обступившими его крестьянами. И завтракал тут же вместе с ними краюхой серого пшеничного хлеба.

А вечерами, когда скрипел под ногами сухой сибирский снег и низкие мохнатые звезды висели над городом, лился из окон этого дома неяркий свет свечей, доносилась шелестящая музыка клавесина, звучали стихи.

...Он совсем не стар, этот человек, что подошел ко мне в переулке Волконского, а рассказывает так, словно бывал здесь сто лет назад.

Слушая его накатистый сибирский говор, я представляла ту страшную последнюю ночь, когда в казематах Петропавловской крепости Сергей Муравьев-Апостол утешал Михаила Павловича Бестужева-Рюмина. Он говорил о справедливом приговоре потомства. Не эта ли благодарная память и есть справедливый приговор?

В Ленинграде, на острове Голодай, где были зарыты тела повешенных декабристов, через сто лет после казни — в июле 1926 года — был установлен памятник. Золотом на красном граните высечены их имена.

Огромные тополя с светло-серой корой несут вечный почетный караул возле гранитного обелиска. А вокруг высятся кварталы новых светлых домов, в сквере играют дети...

Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали,
Их имена забыться не должны...

Так писал поэт Некрасов. Желание его сбылось.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. В него еще поверят...	7
Глава вторая. В Каменке	22
Глава третья. Не договорились	41
Глава четвертая. «Полярная звезда»	52
Глава пятая. На Юге	60
Глава шестая. Рылеев и Каховский	84
Глава седьмая. Предательство	94
Глава восьмая. Начинается!	104
Глава девятая. Четырнадцатое декабря	115
Глава десятая. В Чернитовском полку	135
Глава одиннадцатая. Конец	152
Глава двенадцатая. Казнь	160
Эпилог (от автора)	170

Художник Юрий Иванов

Либединская Лидия Борисовна.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА (ДЕКАБРИСТЫ). Повесть.
М., «Молодая гвардия», 1970.
176 с., с илл. (Пионер — значит первый).

P2

Редактор Валентина Трусова

Художественный редактор Винтор Плешко

Технический редактор Иван Соленов

Корректоры Зоя Федорова, Лидия Зорина

Сдано в набор 9/VI 1970 г. Подписано к печати
9/XI 1970 г. А02778. Формат 70×108^{1/32}. Бумага № 2.
Печ. л. 5,5 (усл. 7,7). Уч.-изд. л. 7,1. Тираж 100 000 экз.
Цена 31 коп. Т. П. 1970 г., № 89. Заказ 1123.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар-
дия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

**В 1971 ГОДУ В СЕРИИ
«ПИОНЕР — ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ»
ВЫЙДУТ КНИГИ:**

- А. ВАКСБЕРГ, Поединок столетия (Димитров).**
- В. БАХРЕВСКИЙ, Кудеяров стан (Кудеяр).**
- В. БОРОЗДИН, На льдине в неизвестность (па-
панинцы).**
- В. ОСОКИН, Российской землей рожденный
(Ломоносов).**

31 коп.



ПИОНЕРЫ
ЗНАЧИТ
ПЕРВЫЙ

19

ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ